П. В. Терешкович

ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ XIX-НАЧАЛА XX В.

В КОНТЕКСТЕ ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

МИНСК
БГУ
2004

УДК 39(476)
ББК 63.о(4Беи)
Т35

Рецензенты:
доктор исторических наук *И. В. Чаквин;*
кандидат исторических наук, доцент А. *Г. Кохановский*

Терешкович П. В.
Т35 Этническая история Беларуси XIX — начала XX в.: В контексте Центрально-Восточной Европы / П. В. Терешкович. — Мн.: БГУ, 2004. — 223 с. ISBN 985-485-004-8.

В монографии на основе сравнительного анализа народов региона Центрально-Восточной Европы рассматривается специфика этнической истории Беларуси XIX — начала XX в. с использованием широкого круга источников.

Для студентов, преподавателей, научных сотрудников, аспирантов, а также всех, кто интересуется этническим прошлым Беларуси и Центрально-Восточной Европы.

УДК 39(476)
ББК 63.5(4Беи)

ISBN 985-485-004-8) БГУ, 2004

«Нет ничего менее определенного, чем это слово "культура" и нет ничего более обманчивого, чем прилагать его к целым векам и народам. Как мало культурных людей в культурном народе! И в каких чертах усматривать культурность? И способствует ли культура счастью людей? Счастью отдельных людей — вот что я хочу сказать — ибо может ли быть счастливо целое государство, понятие абстрактное, в то время как граждане его бедствуют?

Что такое счастье людей? И есть ли на земле счастье? И, коль скоро все земные существа и, главное, люди так различаются между собой, нельзя ли (можно ли) сказать, что есть счастье повсюду — во всяком климате, во все времена, во все возрасты, при всяком жизненном укладе, при всех катастрофах и переворотах жизненных судеб? Есть ли общая мера для всех столь различных условий и состояний, и рассчитывало ли Провидение на благополучие творений своих в любых жизненных ситуациях как на последнюю и конечную, главную свою цель?»

Йоган Готфрид Гердер

Одной из важнейших задач социальной (культурной) антропологии, сравнительно новой, но постепенно завоевывающей популярность на постсоветском культурном пространстве дисциплины, является объяснение единства и разнообразия человечества. Расшифровка генома человека продемонстрировала статистическую ничтожность расовых различий и, следовательно, еще раз подтвердила и объяснила тот факт, что все люди относятся к одному и тому же биологическому виду. Однако значение, придаваемое расовой принадлежности в различных этнических культурах, едва ли от этого стало меньше. Глобализация, Интернет, превращение земного шара в подобие деревни не только не приводят к уменьшению, но, наоборот, парадоксальным образом

способствуют увеличению культурных различий. И если биологическое разнообразие и единство может быть объективно измерено и объяснено, то в отношении культурного у науки до сих пор нет ни надежного инструментария, ни даже единых концептуальных подходов. Весь долгий путь развития антропологии может быть интерпретирован как история мучительных поисков ответа на вопрос о причинах этого единства и особенно различий. Последние объяснялись принадлежностью к определенной ступени эволюции культуры, миграциями и заимствованиями, детерминированностью географическими условиями, конфигурацией культурных ценностей и т. п. Были периоды, когда различия объявлялись абсолютными, а выделение неких универсальных моделей считалось едва ли не неприличным, ибо могло подразумевать деление народов на более и менее развитые. Последнее десятилетие постмодернистская риторика призывает отказаться от поиска универсальных моделей (не по причине соображений морального толка, а исходя из их методологической бесперспективности) и сконцентрироваться главным образом на скрупулезно выверенном описании различий и их интерпретации. Но ни эпистемологические изыски постмодернистской антропологии, ни все ее предшествующее развитие не могут дать ответ на достаточно простой, на первый взгляд, вопрос: если человечество едино, то в чем это выражается и какие отклонения от этого единого могут считаться допустимыми, нормальными? Вопрос состоит не только в том, чтобы втиснуть в это единое некие, экзотически чудовищные с точки зрения европейского мышления традиции, например, зароастрийского погребения или меланезийского каннибализма, но в том, что выходит далеко за пределы чисто академических интересов антропологии. Он куда глубже и одновременно банальней. Это вопрос вопросов для любого общества, подверженного или желающего перемен, и особенно для тех, кто изо дня в день пытается определить: «Кто мы? Куда мы идем и ... зачем?»

* * *

Не хотелось бы начинать книгу со штампа, но факт остается фактом — девятнадцатый век нередко называют «веком народов». В самом широком смысле слова это означает, что именно с этого века этничность становится одним из важнейших факторов истории, и в особенности европейской. Такое значение этничности обусловлено ее соединением с политикой в рамках национальных движений. Их развитие не только кардинально изменило карту мира, но и привело к тому, что, по меткому выражению Б. Андерсона, «в современном мире каждый человек должен иметь определенную национальность так же, как и мужчина или женщина свой пол» [326, с. 5]. Иными словами, сплетение этничности и политики приводит к формированию наций, вне зависимости от того, этничность ли используется политикой для их создания или политика создает эту этничность. Эти процессы и составляют основное содержание этнической истории нового времени.

В предлагаемой работе хотелось бы объяснить, почему этническая история Беларуси XIX—XX вв. сложилась именно такой, какой она была. Не секрет, что с точки зрения темпов формирования национальной общности белорусы значительно отставали от большинства народов Европы. С целью выяснить причины этого этническая история Беларуси была помещена в контекст широкого по географическим и социокультурным рамкам региона Центрально-Восточной Европы, с акцентом на его восточной части. Был проведен сравнительный анализ многочисленных факторов и составляющих национальных процессов у народов этого региона. Это позволило не только объяснить причинную обусловленность специфики этнической истории Беларуси, но и, как это ни парадоксально кажется на первый взгляд, лучше осознать, что же на самом деле происходило в то время.

Такой подход, естественно, нуждается в пояснении, но не хотелось бы вдаваться в подробные рассуждения о том, что представляет собой Центрально-Восточная Европа. В самом пространном толковании она включает территории от Эстонии на севере до входивших в состав Австро-Венгрии частей Румынии и Сербии. Историография этой проблемы столь обширна, что она сама по себе могла бы стать темой самостоятельного исследования. Однако это не снижает актуальности главного вопроса: если народы столь различны в историческом, лингвистическом, культурном и конфессиональном отношении, то можно ли вообще считать Центрально-Восточную Европу регионом? Не углубляясь в эту проблему, можно отметить общие черты, характерные для большинства народов.

Во-первых, это осознание, часто болезненное, своей «не совсем», «не до конца» европейскости, но все-таки европейскости, а отсюда — широкое распространение мифов и автостереотипов о себе как о «перекрестке», «мосте» и вообще существовании где-то «между» (Европой и Азией, Германией и Россией и т. д.). Во-вто-

рых, что более существенно, это общая этническая судьба. Практически все народы региона к началу XIX в. лишились или не имели в прошлом своей государственности. Поэтому формирование наций у них (за исключением, отчасти, поляков и венгров) шло по одному и тому же этнонациональному сценарию — «национальному возрождению», в котором естественной, природной легитимности, этничности отводилась главная роль.

Используемый в работе термин «Центрально-Восточная» Европа может показаться непривычным по сравнению с более устоявшимся в нашей традиции определением «Центральная и Восточная» Европа, которое имплицитно предполагает противопоставление собственно Центральной и Восточной частей Европы. Но если Украину и Беларусь отнести к Восточной, то что тогда делать, например, с протестантско-католическо-православной Латвией, которая чисто географически уже никак не попадает в Центр и плохо соотносится с представлениями о Европе Восточной. Термин «Центрально-Восточная» снимает эти противоречия, подчеркивая этнокультурную непрерывность (в антропологическом понимании) региона. Кроме того, он более адекватен принятым в англо-американской и польской историографических традициях определениям «East-Central Europe» и «Europa Srodkowo-Wshodnija».

Необходимо подчеркнуть, что предлагаемая работа не представляет собой сравнительную историю национализма. Она рассчитана на читателя, который уже ориентируется в этом контексте либо для него не составит труда обратиться к популярной справочной литературе. Это попытка объяснить причины различий, не вдаваясь в детальное описание событий, политических программ, биографий лидеров и т. д. Исключения делались лишь в тех случаях, когда подобные факты ранее не анализировались или не были известны.

В монографии пять глав. В первой из них дан анализ историографии и источников. Вторая глава посвящена теоретико-методологическим аспектам изучения национальных процессов, иначе говоря, современной теории нации. Вынесение этого сюжета в отдельную главу, на наш взгляд, абсолютно необходимо, так как очень многое зависит от того, какое содержание вкладывается в само понятие «нация». В трех последних главах этническая история Беларуси в контексте Центрально-Восточной Европы представлена в хронологической последовательности.

* * *

В заключение хотелось бы высказать слова благодарности тем, кто помог автору в работе над данной монографией: профессору Люблинского университета им. Марии Кюри-Складовской Рышарду Радзику, профессору Белостокского университета Олегу Латышонку, ведущему научному сотруднику Национального исторического архива Республики Беларусь Виталю Скалабану, профессору Дитриху Байрау, профессорам Питсбургского университета Бобу Доннорумо и Роберту Хейдену, старшему научному сотруднику Института истории Национальной академии наук Беларуси Андрею Киштымову, преподавателям и сотрудникам Центрально-Европейского университета (г. Будапешт), сотрудникам и, особенно, директору Финляндского центра русских и восточно-европейских исследований Вальдемару Меланко, а также сотрудникам Национального исторического архива Республики Беларусь (и его филиала в г. Гродно), Центрального архива Российской академии наук в Санкт-Петербурге, Архива Российского географического общества, Российского государственного исторического архива.

Необходимо отметить, что выполнение исследования в значительной степени ускорило получение гранта Фонда фундаментальных исследований Республики Беларусь.

ГЛАВА 1
ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ

Историческая компаративистика вообще, хотя и не новое, но сравнительно редкое направление исследований. В полной мере это касается и изучения этнической истории Беларуси. Историография проблемы исчерпывается всего лишь несколькими публикациями. Они могут быть разделены на две части: те, в которых Беларусь выступает в качестве одного из объектов исследования, и те, где Беларусь помещена в центр сравнительного анализа (что собственно соответствует теме нашего исследования).

Едва ли не самым ранним опытом исследования формирования белорусской нации в сравнительном контексте является работа польского историка и политического деятеля JI. Василевского «Литва и Беларусь. Прошлое, настоящее, тенденции развития» [402]. Хотя, собственно сравнительный анализ не являлся целью этого исследования, в нем достаточно много материалов для его проведения. По существу, работа Л. Василевского содержит один из самых ранних очерков истории развития национальных движений у литовцев и белорусов. В ряде случаев автор проводит параллели с украинским движением, история которого ему тоже была хорошо известна. По мнению автора, белорусское движение развивалось «в условиях исключительно неблагоприятных и его нельзя сравнивать с литовским и украинским» [402, с. 287]. К числу таких условий Л. Василевский, в частности, относит слабое этническое начало белорусов по отношению к ассимиляции со стороны поляков и русских. При некоторой, вполне понятной, тенденциозности работа Л. Василевского отличалась достаточной доброжелательностью, а многие наблюдения и замечания автора имеют источниковедческую ценность.

Среди работ первой группы особо необходимо выделить выдержавшую несколько изданий монографию польского исследователя М. Вальденберга «Национальный вопрос в Центрально-Восточной Европе. История. Идеи» [401]. Объектом сравнительного анализа М. Вальденберга стали тринадцать народов и этнических групп, населявших Австро-Венгрию и Российскую империю (включая дисперсно расселенных евреев). Наибольший интерес для данного историографического обзора представляют разделы

монографии, рассматривающие период от зарождения в регионе национальной идеологии в конце XVIII—XIX вв. до окончания Первой мировой войны. Автор использовал ряд критериев для сопоставления как факторов, так и собственно развития национальных движений. Среди первых он обращает внимание на наличие природных ресурсов, включая качество почв, уровень развития промышленности; исторический фактор (наличие в прошлом государственности); демографические, этносоциальные и этнокультурные параметры (общую численность народа, ее соотношение с численностью других этнических групп на территории компактного проживания этноса; долю городского населения в целом и долю в нем коренного народа, уровень грамотности, долю рабочего класса, интеллигенции и т. д.). Критериями развития национальных движений для М. Вальденберга являются активность национальных политических и культурных организаций, численность их участников, количество и тиражи изданий, результаты участия в избирательных кампаниях. Подводя итоги развития процессов формирования нпций и Цгмггргип.ш* НосточппМ КнJ»>н<-, азтор отмечает, что быстрее всею они ратника л но, ';р<:ди •*ч-./.и*\: *и* медленнее всего — у белорусов [401, с. 151]. Причины отставания белорусов М. Вальденберг видит в отсутствии в прошлом собственного государства, недостатке минеральных ресурсов и плодородных почв, низком уровне урбанизированности, грамотности, малочисленности интеллигенции. Сопоставляя белорусский и литовский случаи, автор обращает внимание на то, что при примерно одинаковом уровне модернизированности, высокие темпы развития литовского национального движения обусловлены наличием середняков среди крестьянства, высоким уровнем отличия литовского языка от русского и национальной активностью католического духовенства. С общим выводом М. Вальденберга о темпах развития белорусского национального движения сложно не согласиться. Вместе с тем его объяснения этого феномена едва ли можно признать исчерпывающими. В частности, что касается литовцев и белорусов, то у последних тоже была достаточно значительная группа крестьян-середняков. Активность же литовского духовенства есть проявление, а не причина национального движения и она должна быть еще чем-то объяснена. Исследование М. Вальденберга охватывает чрезвычайно большой массив информации. При этом, что неизбежно, от внимания исследователя ускользают многие нюансы, значение которых на самом деле очень велико. Эта же причина, по-видимому, не позволила провести

строгий сопоставительный анализ (у различных народов приведен разный набор факторов и критериев) и обусловила фактологические ошибки, например, упоминание о захвате белорусских земель литовскими князьями в XII в. [401, с. 118].

Некоторые аспекты формирования белорусской нации в контексте этнической истории народов Центрально-Восточной Европы рассмотрены в известной монографии чешского историка М. Гроха «Социальные предпосылки национального возрождения в Европе» [358]. Хотя автор не ставил в качестве отдельной задачи изучение белорусского национального движения и использовал лишь несколько публикаций Л. Василевского [403], Г. Горецкого [32] и М. В. Довнар-Запольского [42], его замечания представляются весьма точными и ценными.

М. Грох констатировал, что белорусское национальное движение относилось к типу опаздывающих и, что подобно лужицким сербам и бретонцам, белорусам не удалось сформировать нацию современного типа. Это было следствием целого ряда причин, включая преобладание крестьянства в социальной структуре (так же как и у ирландцев, эстонцев, литовцев), отсутствие значительного слоя мелкой буржуазии. М. Грох подчеркивает, что так же как у македонцев и эстонцев, у белорусов большую часть интеллигенции, и, соответственно, национальных активистов составляли учителя. Эту особенность он объяснял тем, что учителя были наивысшей социальной группой, в состав которой крестьяне могли попасть с наименьшими усилиями.

По мнению М. Гроха многие особенности делают белорусское движение чрезвычайно подобным литовскому. В частности он отмечает, что города практически не играли значительной роли в развитии обоих движений, так как там не только не было коренного населения, но и не было ни одного активиста, родившегося в городе. С последним, конечно, сложно согласиться.

Среди причин, обусловивших отставание белорусского движения, М. Грох называет низкий уровень развития социальной коммуникации" и мобильности, отсутствие регулярных контактов крестьян с рынком. При этом территорию Полесья, наряду с белорусско-литовским пограничьем, частью Нижней Лужицы и, с некоторыми оговорками, Западной Пруссии и Мазовии, он приводит как пример наименьшей интенсивности развития этих феноменов. Именно этим он объясняет распространение этнонимов типа «тутэйшыя», зафиксированных как массовое явление переписями 1919 и 1931 гг.

Хотя М. Грох часто сравнивал именно белорусское и литовское движения, он не обратил внимания на причину различий между ними. Нет и убедительного объяснения отмеченной автором большой скорости развития массового литовского движения. Он, как и многие другие исследователи, отмечает исключительную роль католического духовенства, но связывает это лишь с тем, что религия играла роль своеобразного заменителя системы социальных отношений. Не исчерпывает глубины вопроса и объяснение литовской специфики предельной простотой этносоциальной ситуации — когда языковые различия в точности соответствовали линии разлома классового антагонизма.

Среди компаративистских исследований следует также упомянуть неопубликованную диссертацию американского историка С. Гутиера «Истоки украинского народного национализма: демографическое, социальное и политическое исследование украинской национальности до 1917 г.», интересующий нас раздел которой достаточно подробно воспроизведен в монографии Я. Грицака [38, с. 100, 101]. С точки зрения С. Гутиера украинское и белорусское национальные движения структурно были чрезвычайно близки, что вытекало из схожести социоэтнических и социокультурных характеристик общества (социальная тождественность украинца/белоруса крестьянину, низкий уровень грамотности). Схожими были и этнические портреты других социальных групп: помещиками были поляки или русские, мелкая торговля находилась в руках евреев, бюрократия была русской. Больший размах украинского движения объясняется относительной многочисленностью интеллигенции, позволившей ей, в отличие от белорусской, создать национальные общины, по крайней мере, в двух крупных городах — Киеве и Полтаве.

Естественно, что такой подход несколько схематичен. Явным преувеличением, например, будет считать, что все посты в административном аппарате в Украине и Беларуси занимали русские. Русских среди чиновников на самом деле было 46,3 % в Беларуси (белорусов — 40,2 %) и 53,9 % в Украине (украинцев — 40,8 %). Относительная низкая концентрация интеллигенции у белорусов действительно имела место, однако, например, у литовцев эти показатели не были большими.

Вероятно, учитывая именно схематизм подхода С. Гутиера, Я. Грицак дополнил его аргументы положением о мобилизующей социальной роли исторической памяти о Гетманщине в развитии украинского национального движения (и соответственно отсут-

ствия такого фактора у белорусов), с чем, конечно, нельзя не согласиться.

Определенный интерес представляет публикация украинского историка С. Екельчика «Национализм украинцев, белорусов и словаков» [48, с. 30—41]. Автор предлагает сравнивать национализм трех народов не только с точки зрения подходов политической и социальной истории, но и современной культурологии. Он отмечает «крестьянский» характер социальной структуры, низкий уровень урбанизации, кодификации литературных языков. С. Екельчик солидаризуется с характеристикой запаздывающего национализма по отношению к национальным движениям белорусов, украинцев и словаков, отмечая, что причиной этого стал национальный гнет, активная ассимиляция, слабость национальной буржуазии и отсутствие рабочего класса. Наибольший интерес представляет критика концепции М. Гроха (впрочем, не достаточно убедительная) и вполне продуктивная авторская концепция «дискурсивных стратегий» развития национальных движений. Вместе с тем С. Екельчик так и не объяснил, в чем состоят причины различий между тремя национальными движениями. Существенным недостатком работы является слабая фактологическая база. Так, сведения о белорусском движении почерпнуты всего лишь из двух публикаций (Н. Вакара и Я. Запрудника). Это, в свою очередь, существенно отразилось на убедительности выводов автора.

Определенное отношение к теме нашего исследования имеет статья польского этнодемографа П. Эберхардта «XX век: национальные изменения в Центральной и Восточной Европе» **[313,** с. 49—73]. В ней представлена широкая картина этнической структуры населения региона, включая данные о белорусах. Большой интерес представляют рассуждения о характере региона, о проблемах интерпретации статистических данных начала XX в. Нельзя не согласиться с П. Эберхардтом в том, что «обычно оппоненты, которые критиковали эту тенденциозность (официальных переписей), сами также представляли картину, далекую от объективной реальности» [313, с. 52]. К сожалению, это замечание в равной степени относится и к самому автору, в частности, к его интерпретации материалов переписи 1897 г. по отношению к заниженной численности белорусов (4220,1 тыс. чел.) и завышенной поляков (838,9 тыс. чел.) на территории Беларуси [313, с. 56]. В данном случае численность белорусов оказалась даже меньшей чем в ранней работе (4356,2 тыс. чел.) автора [314,

с. **51].** Проблема эта заслуживает более подробного рассмотрения, что будет сделано ниже.

Определенное отношение к историографии нашего исследования имеет фундаментальный труд польского историка В. Родкевича «Русская национальная политика в западных губерниях Империи **(1863—1905)» [381]. В** нем дана не только общая характеристика политики русской администрации в регионе, но и представлены отдельные очерки о ее направленности и конкретных действиях по отношению к литовцам, украинцам и белорусам. Вполне убедительным представляется замечание автора о том, что степень репрессивности политики по отношению к конкретному народу непосредственно зависела от уровня активности его движения и, следовательно, угрозы для стабильности ситуации.

Что касается второй группы публикаций, то едва ли будет преувеличением сказать, что наибольшее значение среди них, впрочем, как и для всей историографии нашей темы, имеет ряд работ польского этносоциолога Р. Радзика, особенно его монография «Между этнической совокупностью и национальной общностью. Белорусы на фоне национальных изменений в Центрально-Восточной Европе XIX века» **[379].**

Этнические процессы в Беларуси в этой работе показаны не только в контексте Центрально-Восточной Европы, но даже шире — на фоне общеевропейских процессов. Большое внимание уделено специфике формирования наций в регионе в целом. Проанализированы причины возникновения этнонационализма. Вне всякого сомнения, одна из наиболее удачных сторон монографии — рассмотрение социально-психологических аспектов развития национальных движений у различных народов Центрально-Восточной Европы.

Специальная глава работы Р. Радзика посвящена анализу причин, обусловивших отставание процесса формирования белорусской **нации, т.** е. той **же** проблеме, которая заявлена в качестве цели нашего исследования. Поэтому на ее положениях остановимся подробнее. В качестве объектов сравнения были избраны литовцы, галицийские украинцы и словаки. Автор утверждает, что запаздывание национальных процессов в Беларуси было обусловлено содержанием белорусской народной культуры, особенностями социальной структуры и политикой государственной власти. По мнению Р. Радзика, для белорусской традиционной культуры был характерен чрезвычайно низкий уровень исторического сознания. Утверждение не лишено оснований, вместе с

тем такой вывод мог бы быть доказанным только в результате проведения сравнительных исследований фольклора. Подобное исследование представляется нам весьма трудоемким и методологически проблематичным: как, например, измерять интенсивность исторического сознания. Автор же приводит ряд сторонних мнений относительно уровня его развития среди белорусов, что само по себе интересно, однако не тождественно собственно народным представлениям [379, с. 174, 175]. Необходимо добавить, что формы традиционного исторического сознания белорусов действительно изучены явно недостаточно. Однако даже первые опыты в этом направлении свидетельствуют, что эти представления были не столь бедны, как это может показаться на самом деле. Характерны в этом отношении предания о Рогволоде и Рогнеде, С. Батории, Ст. Понятовском, Екатерине II и т. д. [90, с. 76—78].

Р. Радзик неоднократно подчеркивает крайне негативные последствия ликвидации в Беларуси униатской церкви. В результате этого белорусы, в отличие от западной части украинцев, литовцев, словаков и словенцев, были лишены социальной группы, которая наилучшим образом смогла бы артикулировать национальные идеи. Естественно, ликвидация униатской церкви едва ли способствовала формированию белорусской идентичности, однако, на наш взгляд преувеличивать значение этого события не следует. Развитие национальных движений ряда народов проходило успешно и без значительного участия духовенства (например, у латышей, эстонцев, финнов, да и в надднепровской Украине). Кроме того, роль униатского духовенства в Западной Украине была не столь однозначной. Значительная часть его была не национально, пророссийски ориентированной. Весьма характерна в данном случае судьба и эволюция взглядов одного из членов «русской троицы» Я. Головацкого. Отметим также, что ликвидация унии в Беларуси в значительной степени была вызвана позицией униатского духовенства. Кроме этого, к моменту ликвидации унии к ней относилось не 80 % белорусов, как в конце XVIII в., а значительно меньше.

Среди причин, осложнявших процесс формирования национальной общности белорусов, Р. Радзик отмечает отсутствие собственного «Пьемонта», роль которого у украинцев играла Галиция, у литовцев — Восточная Пруссия. Это, действительно, достаточно существенный фактор, однако, опять таки ряд народов (эстонцы, латыши) также не имели его.

В белорусской историографии, как это ни парадоксально, присутствует только одна работа, посвященная интересующей нас проблематике. Это статья С. Токтя «Белорусское национальное движение XIX—XX вв. в контексте национальных движений народов Центрально-Восточной Европы» [227]. Она обращает на себя внимание в первую очередь тем, что эта фактически первая собственно белорусская попытка постановки самой проблемы. Автор сравнивает белорусское движение с украинским и литовским, упомянута также словацкая ситуация и ряд других народов. В качестве критериев анализа предложены этапы развития национальных движений, их хронологические рамки и социально значимые результаты. Хотя периодизация белорусского национального движения, представленная С. Токтем, выглядит чрезмерно оптимистичной, а оценка многих событий в Украине и Литве — достаточно спорной, с общим выводом об отставании национальных процессов в Беларуси «по времени и размаху» вполне можно согласиться. Среди причин, обусловивших этот феномен, автор называет ситуативные этнические особенности белорусов (лингвистическая близость к полякам и русским), роль Гетманщины и Галиции у украинцев, значение конфессиональных отличий. Общее заключение о том, что «нациообразующий процесс на белорусских землях проходил в наиболее неблагоприятных условиях по сравнению со всеми остальными народами Центрально-Восточной Европы» [227, с. 75], хотя и представляется нам достаточно адекватным, к сожалению, не вытекает из содержания самой статьи.

Подводя итог историографии изучения этнической истории Беларуси в контексте Центрально-Восточной Европы, хотелось бы отметить следующее. Во-первых, эта проблема не стала предметом систематических научных исследований. Поэтому можно скорее говорить не о направлении, а о простой совокупности работ, в разной степени затрагивающих данную тему. Во-вторых, подавляющее количество исследований представлено работами зарубежных, преимущественно польских исследователей. В белорусской историографии эта тема, по существу, лишь только обозначена. И, в-третьих, вышеперечисленные работы далеко не исчерпывают всей глубины проблемы. Главный вопрос — о причинах отставания процессов формирования белорусской нации, на наш взгляд, до конца не решен.

Анализ историографии порождает и еще одну проблему: если ответ на главный вопрос представляется не (совсем) полным, то

каким образом следует проводить сравнительный анализ национальных процессов, иными словами, что и как сравнивать. На наш взгляд, наименее продуктивным представляется сравнение развития национальных движений. Такой подход неизбежно означает опору на национальные историографии. Об этом свидетельствует опыт подавляющего большинства упомянутых выше исследователей. Но едва ли не каждая история развития национального движения мифологична. В данном случае это ее свойство понимается нами не как вымышленность, а как определенным образом спроецированная интерпретация реально происходивших событий. О мифологичности национального сознания, национальных историографии написано не мало и нам не хотелось бы продолжать дискуссию на эту тему [40, 163, 308]. Отметим, что история национального движения может быть и предметом создания контрмифа, как, например, работа Н. И. Ульянова «Происхождение украинского сепаратизма» [233], чья очевидная агрессивность вполне понятна: ничто так сильно не раздражает, как стремление к самостоятельности того, что по праву считаешь своей собственностью. В любом случае очевидной является тенденция национальной историографии представить историю собственного национального движения как можно более древней. Несовпадение точки отсчета белорусского движения у белорусских и западных (польских, немецких, американских) исследователей (разница в 50—90 лет) далеко не уникально. Аналогичные несовпадения характерны и для оценок украинского, литовского, эстонского и других движений.

Альтернативный вариант исследования национальных движений, основанный на изучении источников, по вполне понятным причинам представляется выполнимым только силами больших коллективов.

В этой связи нам представляется наиболее продуктивным подход, основанный на анализе массовидных статистических материалов, содержащих сведения об этническом, конфессиональном, социальном и других параметрах населения. Сухой язык цифр в наименьшей степени требует перевода, что крайне важно при изучении региона, чрезвычайно сложного в этническом отношении. Естественно, что и статистические источники требуют критического подхода. В наибольшей степени это касается сведений об этническом составе населения. Этой проблеме нами уделено соответствующее внимание. Что же касается таких показателей, как уровень урбанизации, грамотности и т. д., то они представляются

вполне объективными. Главное требование к статистическим данным — это сопоставимость, а она достижима в том случае, когда данные собирались синхронно и в соответствии с едиными принципами. Именно в связи с этим наше исследование сфокусировано на этнической истории народов восточной части Центрально-Восточной Европы, входившей в состав Российской империи.

Источниковую базу работы составляет широкий круг литературных материалов, а также неопубликованных документов, хранящихся в Национальном архиве Республики Беларусь, Российском государственном историческом архиве, Центральном архиве Российской академии наук, Архиве Русского географического общества. Основным видом источников стали статистические материалы XIX—XX вв., содержащие сведения о численности, этническом, конфессиональном, социальном составе населения, его расселении, уровне грамотности, профессиональной структуре, экономической активности: переписи населения, материалы текущего учета, статистические исследования, административные отчеты.

Особенности статистического учета в Российской империи, его сильные и слабые стороны достаточно подробно анализировались в работах С. И. Брука и В. М. Кабузана [22, 23]. Вместе с тем нам представляется достаточно спорным тезис В. М. Кабузана о возможности учета этнического состава населения Российской империи в первой половине XIX в., на котором основывается его последняя монография [58]. На наш взгляд, источники этого периода недостаточно полны, а представление целостной картины требует сложных реконструкций, методика которых автором не раскрывается.

В первой половине XIX в. учету подлежала численность, сословный и отчасти конфессиональный состав населения. Значительная часть этих материалов опубликована [160, 161]. Большой интерес также представляют монографические исследования и статьи П. И. Кеппена **[69],** Е. **И.** Вольтера [30], Е. Зябловского **[56], Е. Ляхницкого [364].** Ценную информацию о населении Беларуси этого периода содержат архивные документы «Сведения о местечках и посадах за **1845** г.» **[250],** «Статистическое описание Могилевской губернии **1838 г.» [11],** «Список мест в Гродненской губернии, населенных поляками» **[9].**

На рубеже 50—60-х гг. XIX в. в связи с обострением политической борьбы в Беларуси, Литве и правобережной Украине появляется большое количество публикаций со сведениями о конфес-

сиональном и этническом составе населения. Этим материалам придавалось большое значение в системе доказательств «русского» или «польского» характера Западного края. Характерно, например, что материалы статьи М. О. Лебедкина «О расселении племен западного края Российской империи», опубликованной в «Записках Русского географического общества», были перепечатаны в неофициальной части газеты «Минские губернские ведомости» и журнале «Вестник Юго-Западной и Западной России». Очевидная тенденциозность была характерна для монографий П. Бобровского, И. Зеленского, А. Карева, Н. Столпянского, атласов Р. Эркерта и А. Риттиха [18, 55, 63, 216, 317, 166].

Все эти публикации были основаны, прежде всего, на одном и том же источнике — так называемых «приходских (парафиальных) списках», которые с определенными оговорками можно считать первой переписью в истории Российской империи, систематически учитывавшей этнический состав населения. Сбор материала проводился в 1857—1858 гг. по инициативе академика П. И. Кеппена. В составленной им анкете было три вопроса: о численности, вероисповедании и этнической принадлежности прихожан. Последний вопрос был сформулирован следующим образом: «Какого племени прихожане (Великорусы. Белорусы, Мордва и пр.)». Анкеты заполняли священники наименьших территориальных подразделений религиозных организаций, которые, по мнению П. И. Кеппена, должны были быть хорошо знакомы с местными условиями. Отсутствие фиксированного списка «племен» привело к тому, что в ответах появились такие этнонимы, как «поляне», «древляне», «дулебы», «ятвяги», «кривичи» и т. д. Поэтому публикация результатов М. О. Лебедкиным вызвала недоумение у ряда современников проведения переписи, например у П. Бобровского [18, с. 26, 47]. На наш взгляд, может существовать три варианта интерпретации материалов приходских списков. Во-первых, они могут отражать реальные формы этнического сознания. Во-вторых, собственное самосознание священников. И, в-третьих, их представления (часто умозрительные) об этнической идентичности прихожан. Критерием подлинности этнонимов может быть упоминание о них в других статистических и этнографических источниках. Собранные анкеты приходских списков хранятся в Центральном архиве РАН [245—249], а также Российском государственном историческом архиве. Большое значение для уточнения материалов приходских списков имеет обнаруженное в архиве Русского географического общества этно-

статистическое исследование, содержащее сведения по уездам и отдельным населенным пунктам Беларуси [12], а также подробное описание Гродненской губернии 1869 г. [133]. В связи с тем, что не все материалы приходских списков были в равной степени для нас доступны, нами были использованы публикации А. Ф. Риттиха по статистике населения Прибалтики [167, 168].

В 70-х — первой половине 90-х гг. XIX в. сведения об этническом составе населения встречались нерегулярно. Вместе с тем ряд материалов позволяет проследить динамику численности населения, его отдельные параметры [208—210]. Большое аиачоиие дли исследования этого периода имеют материалы отчетов губернаторов, а также монографическое исследование А. Сементовского [196], сборник А. Дембовецкого [153], исследование Минского статистического комитета [57].

Среди статистических источников XIX — начала XX в. особое место занимают материалы первой всеобщей переписи Российской империи 1897 г. [158]. В ней содержится огромный фактический материал об этническом, конфессиональном, сословном, профессиональном составе населения, уровне грамотности и т. д. Наличие многочисленных корреляционных таблиц позволяет проследить развитие этнических и миграционных процессов. Вместе с тем известно, что в организации и методике проведения переписи было много недостатков. Наибольшие претензии предъявляются к определению этнической принадлежности по «родному языку» [8, с. 260]. Необходимо отметить, что такой подход был обусловлен не только реалиями Российской империи, где процессы формирования устойчивой национальной идентичности были далеки от завершения, но и требованиями международных организаций, в частности, Международного статистического конгресса. Добавим, что подобный способ определения этнической принадлежности практиковался и в других государствах Европы.

С нашей точки зрения при интерпретации материалов переписи 1897 г. необходимо учитывать особенности механизма ее проведения. Исчисление населения было проведено (в отличие от современных переписей) за один день. Для такого масштабного мероприятия потребовалось огромное количество исполнителей. Их подбирали из представителей местной интеллигенции и служащих. Так, например, для проведения переписи в Витебске и Витебском уезде было привлечено 152 человека, 53 % из которых составляли чиновники, 20 % — учителя, 13 % — крестьяне [124, л. 32—37]. Переписные листы заполнялись заранее, а в день про-

ведения переписи подлежали лишь сверке (в этом секрет проведения переписи за один день). При этом грамотные сами заполняли переписные листы и, следовательно, самостоятельно определяли, какой язык указать родным. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что графы «родной язык» и «грамотность» в переписном листе стояли рядом. Поэтому случаи, когда интервьюируемый, владея в той или иной степени русским, польским, немецким и др. языками, в то же время считал родным языком белорусский, украинский, литовский и т. д., с нашей точки зрения являются примерами осознанной этнокультурной ориентации и могут быть квалифицированы как факты этнического самосознания. Что касается неграмотного населения, то счетчики были обязаны вписывать в анкету название того языка, «который каждый считает для себя родным» [125]. Однако, как происходило это на самом деле, сейчас сказать сложно.

Публикация результатов переписи была воспринята далеко не однозначно. При этом в польской историографии сложилась устойчивая традиция восприятия результатов переписи как фальсификации, направленной на занижение численности поляков в Западном крае [314]. Вопрос этот более чем серьезный, так как под сомнение ставится сама возможность использования переписи 1897 г. в качестве надежного источника. Отметим сразу, на занижение численности своей этнической группы сетовали и белорусы и литовцы [238, с. 385, 428], к которым, по мнению польских исследователей, была приписана значительная часть поляков. Один из аргументов польских исследователей состоит в том, что к полякам в момент проведения переписи относили только землевладельцев и интеллигенцию [314, с. 29; 369, с. 18]. С этим едва ли можно согласиться: по данным переписи 1897 г. на территории Беларуси не менее 30,1 % поляков составляли крестьяне. Но едва ли не самый главный аргумент — полное или почти полное отождествление католического населения Беларуси с поляками. Это положение представляется буквально как аксиома. В. Вакар, например, чье исследование П. Эберхардт считает «самым фундаментальным» [314, с. 18], попросту утверждал, что возможно «так называемых белорусов-католиков ... и «русских других вероисповеданий» причислить без значительной ошибки к польской национальности» [399, с. 17]. Впрочем, В. Вакар не включил в состав поляков свыше 40 тыс. католиков, однако почему именно столько, а не меньше или больше, не вполне понятно. П. Эберхардт утверждает, что во второй половине XIX в. «на пространстве бывшей Речи Посполитой возникает понятие национальной идеи среди крестьянского слоя», «крестьянин-католик, употреблявший славянские диалекты ... становится окончательно поляком», и что «эти процессы в конце XIX в. выступали уже в четко очерченной форме» [314, с. 31]. На наш взгляд, это явное преувеличение. Для крестьян не только Восточной, но и Западной Европы было характерно отсутствие четкого национального самосознания. Такая ситуация была характерна даже для Франции конца XIX в., несмотря на более чем столетнее существование «образцового» для других народов национального государства [404]. Отметим, что согласно основательным монографиям Х. Бродовской и Я. Моленды более-менее четкая артикуляция национальной идентичности среди крестьян на собственно этнической польской территории приходится на период революции 1905—1907 гг. и в большей степени на время Первой мировой войны [338, 371]. Что же касается конца XIX в., то, по мнению Я. Моленды, «для сельской местности Королевства Польского, впрочем как и для Галиции, обычными явлениями были: цивилизационная отсталость, безграмотность, низкий уровень сознания национального и политического, а также связанное с этим безразличие к общественным делам» [371, с. 95]. В связи с этим сложно представить, чтобы формирование польского национального самосознания среди крестьян-католиков белорусско-литовского пограничья шло быстрее, чем собственно в Польше. Это наше предположение подтверждает и фундаментальное исследование Р. Радзика, который отмечает, что даже среди польской интеллигенции на литовско-белорусских землях распространение понятий нации (культурной, а не политической), идеологической отчизны происходило медленнее, чем в Конгрессовой Польше [379, с. 136, 137].

Все это не означает, что при проведении переписи 1897 г. не могло быть тенденциозности. Нельзя не заметить, что ее результаты далеко не всегда совпадают с этнографическими и лингвистическими данными того времени. Это касается, например, большей части населения Пинского уезда. Очевидно также, что состав переписчиков, преобладание среди них чиновников и учителей, т. е. людей, зависимых от власти, давал возможность последней ими манипулировать. Но возникает вопрос, столь ли необходимым для российской администрации в 1897 г. было занижение численности поляков в Беларуси более чем в 4 раза. Конечно, подчеркнуто антипольский ее характер на момент переписи не вызывает сомнения, но реальная угроза, исходившая со стороны

польского движения, не была столь значительной, чтобы вызвать такую реакцию.

Следует добавить также и то, что критика польскими исследователями начала XX в. переписи 1897 г. появилась значительно позже публикации ее материалов: сведения по самой «спорной» Виленской губернии были напечатаны еще в 1899 г. Очевидно, что критика была вызвана не столько научными, сколько политическими мотивами, о чем справедливо пишет и П. Эберхардт [314, с. 18]. Заметим, что к моменту выхода в свет этих публикаций, т. е. в 1912—1918 гг., после значительной активизации польского национального движения, либерализации издательского дела, образования, конфессиональной сферы, этническая ситуация в Беларуси действительно существенно отличалась от той, которая была в конце XIX в.

На наш взгляд, исходя из всего вышеизложенного, материалы переписи 1897 г. могут считаться вполне адекватными реально существовавшей ситуации. При этом необходимо еще раз подчеркнуть, что в ней зафиксирована не национальная идентичность, а признание того или иного языка родным.

Для сопоставления уровня экономического развития различных частей региона нами было использовано проведенное почти одновременно с переписью 1897 г. масштабное статистическое исследование «Торговля и промышленность Европейской России по районам» [228]. Сами составители отмечали, что это первый в истории России опыт систематического сравнительного свода данных, отражающий обороты внутренней и внешней торговли, промышленности, перевозки грузов по железным дорогам и водным путям сообщения. Работа над сводом данных проводилась в течение восьми лет под руководством В. П. Семенова-Тян-Шанского. Учитывая некоторую неожиданность результатов сравнительного анализа этих материалов для утвердившихся в белорусской историографии представлений, хотелось бы подробнее охарактеризовать этот источник. Основу его составила информация Казенной палаты Министерства финансов России, в которой хранились карточки для каждого торгового или промышленного предприятия (всего до 600 тыс.). В них содержались сведения о годовых оборотах, прибылях и размере налогового обложения предприятия. Эта информация картографировалась на уровне отдельных населенных пунктов и волостей, на основании чего были выделены торгово-промышленные районы: группы волостей, тяготеющих к определенным населенным пунктам. Они, в свою очередь,

были объединены в так называемые полосы — крупные регионы, с достаточно четко выраженной специализацией и примерно одинаковым уровнем «оживления торгово-промышленной жизни». Этот уровень высчитывался как абсолютная сумма торгово-промышленного оборота на одного жителя. За основу были взяты фискальные данные за **1900** г., а численность жителей исчислялась исходя из данных переписи 1897 г. с учетом естественного прироста. Составители сборника вполне отдавали себе отчет в том, что фискальная статистика не учитывала объемы производства в крестьянских хозяйствах. Именно поэтому были использованы данные о грузообороте на железных дорогах и водном транспорте, т. е. там, где это было возможно учесть. Составители подчеркивали, что торговый оборот является показателем «потребительской силы» определенной местности. На наш взгляд, материалы этого сборника отражают интенсивность экономической активности и могут быть рассмотрены как один из важнейших показателей уровня модернизации.

В **1900**—1910-е гг. в связи с активизацией политической борьбы степень тенденциозности статистических материалов значительно возрастает. Белорусы и украинцы, например, часто вообще не выделялись из общего восточнославянского массива, всех представителей которого именовали русскими. Исключение составляет небольшое количество источников, содержащих сведения по отдельным регионам и городам [36, **146,** 162]. В определенной степени эти недостатки восполняют сведения о численности и конфессиональном составе населения, опубликованные в ежегодных обзорах губерний, и архивные отчеты губернаторов. Характерной чертой статистики начала XX в. стало вопиющее несовпадение численности одних и тех этнических групп в различных источниках. Это касается украинского населения Западного Полесья, и, главным образом, численности поляков. Так, например в «Материалах переписи **1909** г. по **9** Западным губерниям» [96] к полякам причислено практически все католическое население Беларуси, в то же время обзоры губерний 1910-х гг. представляли ничтожной численность этой этнической группы. Среди этностатистических источников этого периода особое место занимает «Однодневная перепись начальных школ в империи, произведенная **18** января **1911** года» **[151].** Анализ материалов этого сборника позволяет сделать «синхронный срез» в масштабах интересующего нас региона. Хотя эта перепись охватывала не все население, она явно затрагивала интересы всех его слоев. Поводом для

ее проведения стала подготовка реформы образования, в том числе изучение потребности в школах с нерусским языком обучения. На ответы учащихся, особенно о национальной принадлежности, естественно влияло мнение родителей и учителей, собственно проводивших опрос. Хотя материалы этой переписи явно тенденциозны, они позволяют проследить направленность некоторых этнических процессов, и, в частности, роль в их развитии различных образовательных структур. Помимо тенденциозности, существенным недостатком однодневной переписи 1911 г. является отсутствие корреляционных таблиц.

Представленное выше сомнение в возможности использования историографии национальных движений в качестве источника для проведения сравнительного исследования не означает, однако, полного отказа от их использования. Нами были отобраны и критически проанализированы те исследования по данной теме, которые в наименьшей степени, как нам показалось, были подвержены воздействию политической конъюнктуры. Так, для анализа национальных движений региона в целом были использованы уже упоминавшиеся в историографическом обзоре монографии М. Гроха и М. Вальденберга, литовского движения — Е. Охманьского [375, 376], А. Валентеюса [398], латышского — А. Плаканса [378], эстонского — Т. Рауна [380], словацкого — Й. Микуса[370], О. Йохнсона [361], Х. Сетон-Ватсона [384], украинского — Я. Грицака [38] и О. Субтельного [217].

Подводя итог анализа источниковой базы, нам хотелось бы отметить, что по своей дисциплинарной направленности предлагаемая монография не является ни чисто этнологическим, ни историческим исследованием. Его можно было бы обозначить как историко-этно-социологическое. Примерами подобных исследований может быть ряд недавно изданных монографий, уже упоминавшаяся Р. Радзика, а также Д. Олкока [325].

ГЛАВА 2
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Ключевое место в изучении этнической истории Беларуси XIX — начала XX в. занимает вопрос о том, сложилась ли в этот период национальная общность белорусов. Ответ на него во многом зависит от того, какое содержание исследователь вкладывает в само понятие нация. Вследствие изолированности отечественной исторической науки в ней до настоящего времени сохраняется формально-объективисткий подход к пониманию феномена нации. Генетически он восходит к концепции И. Сталина по национальному вопросу [204], позднее канонизированной под названием марксистско-ленинской теории нации. Сегодня уже нет смысла критически относиться к ней только исходя из отношения к личности создателя. Сталинская концепция отражает определенный, характерный для начала XX в., этап в развитии теории нации. Не случайно составители оксфордской хрестоматии по теории нации Дж. Хатчинсон и Э. Смит включили в нее фрагмент из работы «Национальный вопрос и ленинизм», характеризуя его как классический (и влиятельный) наряду с текстами Э. Ренана и М. Вебера [372, с. **15].** Вопрос состоит в том, что с 1913 г. и особенно в последние 20—25 лет появилось большое количество теоретических работ, носящих принципиальный характер. Эти достижения, прежде всего англо-американской историографии, мало известны неспециалистам. Малотиражные и нередко плохо переведенные издания Э. Геллнера, Э. Хобсбаума, Э. Смита и Б. Андерсона, появившиеся в последнее десятилетие, принципиально не изменили ситуации. Поэтому, на наш взгляд, представляется необходимым посвятить отдельную главу анализу современных концепций в области теории нации. Ее задача не только в том, чтобы охарактеризовать современный теоретический контекст в этой сфере, но и в том, чтобы выбрать из него то, что непосредственно может быть использовано для анализа этнической истории региона Центрально-Восточной Европы, либо касается непосредственно Беларуси.

На первый взгляд современная теория нации выглядит предельно мозаично, распадается на множество взаимоисключающих концепций и течений. Общим местом стала констатация отсутствия интегративной теории нации [362, с. 1] и, даже, принципиальной невозможности ее создания [337, с. 33]. Существует множество подходов к классификации концепций национализма. Наряду с наиболее часто встречающимся противопоставлением «модернизм — постмодернизм» (имеющим достаточно отдаленное отношение к позитивистко-постмодернистким философским дебатам), предлагаются и более детализированные классификации. Так, Джеймс Келлас противопоставляет «примордиализм», точку зрения, согласно которой национализм коренится в инстинктивных моделях поведения традиционных обществ, и «контекстуализм», рассматривающий национализм в качестве продукта определенных экономических и социальных условий [362, с. 35]. Энтони Смит, наиболее авторитетный современный специалист в области теории нации, выделяет, во-первых, «ортодоксальный модернизм», понимающий феномен нации как продукт социальной трансформации, вызванной индустриальной модернизацией; во-вторых, «нео-перенниализм», согласно которому нации существовали задолго до возникновения индустриального общества, в том числе в средневековье и в эпоху античности, и, в-третьих, «этно-символизм» (к последователям которого относит и себя), акцентирующий особое внимание на роли культурных и социальных элементов, унаследованных нацией от прединдустриального периода развития [388, с. 10—31]. Мэтью Левинжер и Паула Литл противопоставляют «инструментализм», рассматривающий национализм в качестве инструмента социально-экономического развития или государственного строительства, используемого социальной элитой, и «конструктивизм», акцентирующий созидательную роль национальной идентичности [365, с. 176]. С нашей точки зрения каждое из этих направлений акцентирует (или абсолютизирует) одну из сторон чрезвычайно многогранного процесса формирования наций. Несмотря на нередко сознательно артикулируемые авторами противоречия между их теориями, вполне возможна выработка если не интегрированной теории, то, по крайней мере, интегративного теоретического подхода к феномену нации. Именно этому посвящена следующая глава.

«Модернистский» подход к теории нации предполагает понимание этого феномена как закономерного продукта Нового времени. Формирование наций рассматривается как результат разви-

тия индустриального общества и вызванного его появлением феномена модернизации. Сторонники этого направления категорически отвергают возможность существования наций в домодерную эпоху, равно как значительного влияния этой эпохи на их формирование. Больше внимания они уделяют элементам социальной инженерии и в этом отношении предстают в качестве сторонников «инструментализма/конструктивизма».

Большинство так называемых «модернистских» концепций формирования наций в той или иной степени опираются на идеи американского политолога Карла Дойча. Хотя его работа «Национализм и социальная коммуникация: исследование оснований национальности» впервые была опубликована в 1953 г., она не утратила своей актуальности до сих пор и считается классическим трудом в своей области. В поле зрения специалистов попало второе издание книги в 1966 г., которое приобрело необычайную популярность в начале 1970-х гг. [345]. В той или иной степени на концепцию К. Дойча опирались Э. Геллнер, Э. Хобсбаум, Б. Андерсон, М. Грох, Е. Хлебовчик и др. Его концепция открывала путь к использованию количественных технологий в историческом исследовании, и в частности — процесса формирования нации. При этом в центре внимания находился процесс социальной коммуникации, понятый прежде всего как общий язык и межличностные взаимодействия всех возможных форм. В пнпчитольной степени концепция К. Дойча была основана на популярном в то время системном подходе, сформировавшемся в русле кибернетических исследований. Последнему обстоятельству в немалой степени способствовала педагогическая деятельность К. Дойча в Массачусетском технологическом институте. С другой стороны, К. Дойч испытал значительное влияние американской культурной антропологии, главным образом таких представителей школы «культура и личность», как Рут Бенедикт и Маргарет Мид.

В рамках объемной, сложной для восприятия и далеко не всегда логически последовательной работы К. Дойча с известной долей условности можно выделить два тематических блока. Первый из них посвящен анализу феномена этничности с позиций теории информации, второй — эволюции этнических общностей «народ» — «национальность» — «нация» в эпоху становления индустриального общества.

Отправным пунктом концепции К. Дойча является представление о коммуникации. Ее значение раскрывается в контексте соотношения общества и культуры. Общая культура способствует раз-

витию коммуникации, она формирует общество. Сотрудничество, кооперация между людьми требует определенного уровня развития коммуникации. Чем богаче эта кооперация, тем более богатой, разнообразной, быстрой и точной информации оно требует. Способность социальных групп и культур передавать информацию может быть измерена и, следовательно, сравнена. В качестве конкретных объектов измерения К. Дойч выделяет точность, эффективность и, что самое главное, относительную эффективность или комплементарность [345, с. 94]. Исходя из этого К. Дойч предлагает определение народа как группы людей, объединенных комплементарными навыками и возможностями коммуникации [345, с. 96]. Он подчеркивает, что все обычные (формальные) определения народа в таких терминах, как общность языка, характера, исторической памяти неизбежно наталкиваются на большое количество исключений. Это результат игнорирования фактора эффективной системы коммуникации. Именно он обеспечивает принадлежность, «членство» в народе, смысл которого состоит в способности более эффективно взаимодействовать с представителями своего народа, чем со всеми остальными [345, с. 97].

Формирование народов означает дифференциацию групп людей, становящихся все более зависимыми от собственного соци ального наследия. На ранних этапах истории человечества существовали лишь минимальные условия для совместимости культурных моделей. Совместное проживание на определенной территории могло способствовать усилению этой совместимости. Постепенно такая территория могла превратиться в четко обозначенный регион с большей интенсивностью контактов между людьми. В свою очередь это обусловливало осознание связи с формирующейся страной или народом, с одной стороны, а с другой — обязательного противопоставления всем другим странам и народам. Такая дифференциация, по К. Дойчу, заложена в самой природе коммуникативного процесса: внутри системы должна циркулировать информация, произведенная ей самой, а нежелательная информация должна отбрасываться. Таким образом сформировались народы.

Переход от сельскохозяйственных моделей производства к ранней индустриальной экономике приводит к формированию особой, национальной формы сознания. Оно, в свою очередь, при благоприятных исторических, социальных и экономических условиях может превратить народ в национальность.

Национальное сознание создает имя, набор взаимосвязанных символов реально существующей комплементарности и уникальности народа. Именно оно заставляет многих представителей народа эксплицитно проявлять свою принадлежность к нему. К. Дойч демифологизирует его значение, подчеркивая, что оно будет развиваться и укрепляться только тогда, когда национальная принадлежность представляется ценностью, когда она расценивается как *«выигрышная карта» в борьбе за престиж и благосостояние* (курсив наш. — ***П. Т.)*** **[345,** с. **76].**

Значительную методологическую ценность, на наш взгляд, имеет выделение К. Дойчем особой стадии в процессе перехода от народа к нации — национальности. Это период, когда существует уже достаточно четко очерченное национальное движение. Именно наличие у его лидеров *желания* подчинить активность масс своим целям и интересам составляет отличие национальности от народа, а наличие их *способности* сделать это свидетельствует, что национальность превратилась в нацию [345, с. 78, 79]. Процесс формирования нации, таким образом, решается К. Дойчем исключительно в инструменталистском ключе. Однако этот инструментализм элиты понимается им как естественным образом лимитированный.

Он зависит от степени мобилизации массовой поддержки населения. А она, в свою очередь, от коммуникативной мобилизации, обусловленной факторами демографического, экономического, социального и технологического развития общества. Масштабы мобилизованного таким образом населения могут быть измерены при помощи следующих шкал: количество населения, проживающего в городах, количество населения, занятого не в сельском хозяйстве, количество населения, читающего газеты не меньше раза в неделю, количество населения, посещавшего школу не менее четырех лет, количество грамотных среди взрослых, количество работающих на предприятиях с числом занятых более пяти, и т. д. Согласно К. Дойчу именно таким образом мобилизованное население способно артикулировать и выражать в политических формах свою социальную активность и, следовательно, быть массовой основой национального движения.

В политической и социальной борьбе нового времени национальность — это объединение при помощи каналов социальной коммуникации большого количества представителей среднего класса с лидирующими социальными группами [345, с. **101].** Лидирующие группы могут быть (а могут и не быть) представлены

высшим классом, например, старой феодальной аристократией. Она поддерживает либо принимает на себя руководство национальным (региональным) движением. Такова, например, роль аристократии в формировании английской и немецкой наций.

Сила национального или патриотического движения зависит от двух важнейших элементов: во-первых, от степени поддержки, которую оказывает национальному движению правящий класс, а также от степени его открытости для представителей других классов, и, во-вторых, от той степени,в которой массы мобилизованы для участия в нем.

Национальное сознание, укоренившееся в среде народа, неизбежно приводит к постановке вопроса о политической власти. На этом пути национальные лидеры способны трансформировать народ в национальность. В эпоху национализма, отмечает К. Дойч, национальность — это народ, ищущий возможностей установления эффективного контроля над поведением своих представителей [345, с. 104]. Подобный контроль может осуществляться как неформальными средствами (благодаря силе общественного мнения, престижу национальных символов), так и более жесткими формальными мерами, включая экономическую или образовательную политику. Вне зависимости от того, какие инструменты использованы, все они направлены на создание или укрепление общественных каналов социальной коммуникации. Это именно то, что создает реальную «ткань» национальности. Национальность, дополненная политической властью, часто рассматривает себя и рассматривается другими в качестве нации. При этом политическая власть вовсе не обязательно должна быть властью государственной. С этой точки зрения можно говорить о польской, чешской и ирландской нациях, даже в тот момент, когда эти группы уже утратили свою государственность, либо до того, как создали ее [345, с. 105].

Национальности, таким образом, по К. Дойчу, превращаются в нации тогда, когда они получают власть для реализации своих стремлений. В конечном итоге, если националистически настроенные силы одерживают верх и получают возможность использовать новое или старое государство в своих целях, возникает то, что принято называть национальным государством.

Наибольшую ценность в концепции К. Дойча представляют два момента. Во-первых, это попытка охарактеризовать этническую общность, народ с точки зрения циркулирования коммуникационных потоков как комплементарную информационную систему. Характерно, что в начале 1970-х гг. аналогичная попытка определения этнических общностей как «сгустков информации» была осуществлена и советскими учеными С. А. Арутюновым и Н. Н. Чебоксаровым [7, с. 8—30]. Во-вторых, это анализ социальных аспектов процесса трансформации национальности в нацию и роли национального сознания в нем. При этом необходимо подчеркнуть особую эпистемологическую значимость категории «национальность» как особого этапа в процессе консолидации нации.

Концепция К. Дойча, к сожалению, сегодня незаслуженно забыта. Модернизм в понимании нации чаще всего ассоциируется с именем британского социолога и антрополога Эрнста Геллнера. Его работы составляют целую эпоху в развитии теории нации. Более того, их популярность во многом была обеспечена предельной четкостью, логичностью изложения, особенно выигрывающей на фоне тяжелых для восприятия трудов К. Дойча.

Центральное место в объяснении феномена нации у Э. Геллнера занимает противопоставление двух типов обществ: аграрно-письменного и индустриального [350, с. 98—145]. Экономической основой первого является производство продуктов питания в самом широком смысле слова. Оно основано на стабильной технологии, в которой улучшения представляются скорее исключениями, чем правилом. Стабильность технологии, как следствие пассивного характера отношений человека и природы, детерминировало иерархичность социальных отношений. Занимать высокое положение в этой иерархии было «куда более значимо, чем наладить эффективное производство, ибо это вряд ли был хороший вариант получить какой-либо статус» [350, с. 99].

Поддержание стабильности таких социальных систем требовало особых средств. Наряду с насилием и идеологией активную роль выполняла письменность, владение которой требовало формального образования и являлось отличительной чертой социальной элиты. В то же время подавляющее большинство остального населения овладевало культурой непосредственно в процессе собственной жизни. Э. Геллнер предложил называть первую форму культуры «высокой», а вторую — «низкой», не вкладывая в эти определения сколько-нибудь значимое оценочное содержание [350, с. 101, 102]. Первая отличается жесткой, устойчивой, стандартизированной формой, распространенной на большой территории, вторая — гибкостью, региональной изменчивостью. Самое главное то, что в таком обществе культурная (этническая) гомогенность как таковая имеет ничтожное (если вообще какое-либо)

значение. Главным политическим принципом было «разделяй и властвуй». Культура крайне редко становилась основой для формирования политического единства. Термин нация в том случае, если он вообще употреблялся, обозначал относительно аморфное сообщество дворянства, как например *«natio Polonus»* в Речи Посполитой, включавшая украиноязычную (а также белорусско- и литовскоязычную — примечание наше. — *П. Т.)* шляхту, но не крестьян, говоривших по-польски [350, с. 104, 105]. Политические образования этой эпохи, как правило, оказывались или больше или меньше культурных общностей, а сознание и подданство людей, в них живших, выражалось в многочисленных и, нередко, противоречивых формах.

В отличие от стабильности, свойственной аграрно-письменному обществу, современное индустриальное общество основано на постоянном внедрении инноваций и росте производительности. В нем, что особо важно, кардинально меняется характер труда огромной массы населения: из преимущественно физического он становится преимущественно семантическим — требующим управления и контроля машинами. Новый характер труда требует новой, надличностной и внеконтекстуальной, формы массовой информации [350, с. 106]. Ее существование возможно лишь в том случае, когда все члены социальной общности владеют одними и теми же правилами формулирования и декодирования информации. Другими словами, они должны принадлежать к одной и той же культуре и эта культура должна быть «высокой», т. е. основанной на формальном образовании, в данном случае, массовом. Именно в этом анализе смены парадигм организации информационной жизни общества видно, что Э. Геллнер не только отталкивался, но и в значительной степени уточнил идеи социальной коммуникации К. Дойча.

Стандартизированная система массового образования чрезвычайно затратна и ее организация под силу лишь государству. Государство в данном случае становится организатором не только образования, но, главным образом, культуры, положенной в его основу. При этом в условиях жесткой борьбы между культура-' ми-государствами, единственный способ для одной культуры противостоять экспансии другой — это опереться на поддержку государства. «Как каждой женщине нужен муж, — афористично замечает Э. Геллнер, — при этом желательно ее собственный, так и каждой культуре нужно государство, также, желательно, собственное» [350, с. 110]. Так возникает новое общество, в котором

распространение и поддержка культуры, а также обеспечение нерушимости ее границ становится заботой государства. Политическая структура и принятая система власти оправдываются двумя важнейшими факторами: насколько обеспечивается устойчивый экономический рост и насколько хорошо обеспечивается сохранение и развитие «высокой» культуры, положенной в основание массового образования. Иными словами, возникает ситуация, которую можно описать кратко: одна культура — одно государство, одно государство — одна культура [350, с. 110]. Таким образом, государство и «высокая» культура оказываются тесно связанными между собой, на основании чего и возникают нации.

Характерно, что свою концепцию Э. Геллнер обозначает как материалистическую, с чем сложно не согласиться. При этом он отмечает ее предельно абстрактный характер. Поэтому он демонстрирует ее применение на конкретных примерах европейской истории. По мнению Э. Геллнера, переход от аграрно-письменного, донационального общества к индустриальному и национальному растянулся на несколько этапов и имел ярко выраженные региональные особенности в различных частях Европы.

Своеобразной отправной точкой он предлагает считать Европу периода Великой французской революции, которая под воздействием экономического развития, урбанизации, Реформации и эпохи Просвещения и т. д. уже достаточно далеко отошла от идеальной модели аграрно-письменного общества. Потребность в социальной мобильности как залоге развития и конкурентоспособности государства уже была осознана и выразилась в идее демократии. Считалось, что общество должно стать демократическим, но какое именно и в каких границах — этот вопрос еще не ставился **[350,** с. **112—115].**

Следующая стадия — эпоха национализма и ирредентизма, соответствует периоду **1815—1914** гг. Под ирредентизмом Э. Геллнер понимает движения за пересмотр сложившихся государственных границ с целью их приведения в соответствие с этническим составом населения. Ирредентизм не тождественен сепаратизму, последний представляет лишь его составную часть. Исторические события в эту эпоху испытали сильное влияние нового, национального по сути проекта мирового устройства, в котором каждая культура должна была обрести свою политическую нишу. Методы приведения в соответствие культурных и политических границ (добровольная или принудительная ассимиляция, гено-

цид, этнические чистки и т. д.) применялись не только в эту эпоху, но и в последующие.

Ирредентизм стал чрезвычайно важным фактором европейского развития, однако реальные результаты его проявились только в следующую эпоху, которую Э. Геллнер обозначает как эпоху триумфа и поражения ирредентизма [350, с. 117]. Распад многонациональных империй сделал политические границы более приближенными к культурным. Однако новые государства были меньше и слабее бывших империй, а их этническая однородность была далеко не абсолютной. В этой связи проблема меньшинств была не меньшей, чем прежде, что и определило слабость и, в конечном итоге, крах новой системы. Массовые геноцид и этнические чистки, характерные для периода Второй мировой войны, с точки зрения Э. Геллнера составляют содержание четвертой эпохи становления современного общества. Агрессивный национализм потерпел полное поражение, а поэтому на смену ему пришла эпоха национализма удовлетворенного, совпавшего с эпохой беспрецедентного роста благосостояния. Накал националистических страстей в это время постепенно снижается, а сам национализм становится все более вплетенным в структуры повседневности.

Такая эволюционная схема, как отмечает Э. Геллнер, не была универсальной, включая саму Европу. Поэтому он предлагает разделить европейский континент на четыре так называемых «часовых пояса», в каждом из которых эволюционная схема срабатывала по-разному. Первый из них — западное побережье Европы, где централизация культурной жизни осуществлялась сильными династическими государствами (с центрами в Лондоне, Париже, Мадриде и Лиссабоне). Этот процесс не только не опирался на культуру крестьянства, но, наоборот, был направлен против нее. Восточнее находился второй часовой пояс, где построение национальных государств осуществлялось за счет унификации. Главной проблемой уже сложившихся «высоких» (немецкой и итальянской) культур было создание единой «политической крыши», а после — также как и в предыдущем поясе — приобщение к цивилизации «высокой» культуры местного «дикаря»-крестьянина [350, с. 128].

Следующий часовой пояс располагался дальше на восток вплоть да границ Российской империи (исключая Польшу и Финляндию). Для этого пояса характерно так называемое «национальное строительство», основанием которого служили, как правило, «низкие» народные культуры (или представления об их существовании). Формирование наций требовало их пробуждения как результата целенаправленной деятельности так называемых будителей — «активистов —пропагандистов — просветителей» [350, с. 129]. Э. Геллнер обращает внимание на выделение «исторических» (некогда имевших государственность) и «неисторических» (основанных исключительно на культурном своеобразии) наций. При этом для обоих вариантов характерна так называемая «этнографическая» фаза — «просеивание, очистка и стандартизация народной культуры как материала для культуры рациональной, кодифицированной, «высокой». Э. Геллнер подчеркивает, что различие между историческими и неисторическими нациями не столь существенно. Оно влияет лишь на характер вновь созданной национальной идеологии. «Так, чехи или литовцы могут предаваться воспоминаниям о своем славном средневековом прошлом, а эстонцы, белорусы или словаки не имеют такой возможности. В их распоряжении — только крестьянский фольклор да рассказы о благородных разбойниках, но нет жизнеописаний монархов и победоносных завоевательных эпопей. Впрочем, и это не имеет значения» [350, с. 137].

По мнению Э. Геллнера, четвертый часовой пояс — «стрлнп самодержавия и православия», прошел в 1815—1914 гг. через те же стадии развития, что и предыдущий [350, с. 129]. Однако после 1918 г. события развивались совсем по другому пути. Новая идеология — марксизм, который Э. Геллнер характеризует как «одно из самых влиятельных из когда-либо созданных убеждений», задержал развитие ирредентистских движений.

В заключение рассмотрения концепции Э. Геллнера подчеркнем, что понимание нации(-государства) как формы осуществления идеи приведения в соответствие политических и культурных границ, за редкими исключениями, в современном мире реализована не была. Она так и осталась идеей, стремлением, тенденцией и не более. За это не раз подвергался и подвергается критике Э. Геллнер. Кроме того, предложенная им схема европоцентрична, и именно развитие событий за пределами Европы продемонстрировало, насколько реальность далека от идеальной конструкции.

К теоретическим постулатам Э. Геллнера во многом близка позиция английского историка-марксиста Эрика Хобсбаума [357]. Его работы носят не столько концептуальный характер, сколько представляют интерпретацию нескольких идей и, пре-

жде всего, идеи инструментализма. Э. Хобсбаум подчеркивает, что он отталкивается от геллнеровского понимания национализма как «принципа сопряженности политических и культурных единиц». Это, в частности, означает с его точки зрения, что политические обязательства граждан некого абстрактного национального государства (Раритании, например, в терминологии Э. Хобсбаума) превосходят все остальные общественные обязательства, а в экстремальных случаях (таких как войны) — вообще все другие обязательства какого-либо рода. Именно это отличает современный национализм от всех других форм национальной или групповой идентификации [357, с. 9].

С точки зрения Э. Хобсбаума нация не является первичной и неизменной социальной общностью. Это явление, характерное исключительно для определенного, исторически недавнего периода. Это социальная общность, соотносимая с определенным типом современного территориального государства, а именно — «нации-государства». «Более того, вместе с Геллнером, — отмечет Э. Хобсбаум, — я хотел бы подчеркнуть элемент искусственности, изобретательности и социальной инженерии, наличествующий в процессе формирования наций» [357, с. 10]. Неслучайным стало издание под его редакцией сборника под характерным названием «Изобретение традиции» [392]. В предисловии к нему Э. Хобсбаум характеризует нацию и связанные с ней феномены национализма, национального государства, национальных символов, историй и т. д., как относительно недавнее историческое изобретение. Все они основаны на использовании социальной инженерии. Так, израильский и палестинский национализм, с его точки зрения, есть проявления новизны, даже несмотря на древность религиозной традиции, так как концепция территориального государства едва ли существовала в этом регионе сто лет назад. Или, другой пример, современный фламандский язык чрезвычайно сильно отличается от того, на котором матери и бабушки современных фламандцев говорили со своими детьми; короче говоря, только метафорически, но не буквально его можно назвать материнским языком [357, с. 13, 14]. Каждый национальный язык почти всегда представляет собой полуискусственную конструкцию, в отдельных случаях, подобно современному ивриту, виртуально изобретенную. При этом, подчеркивает Э. Хобсбаум, нас не должен вводить в заблуждение забавный, но понятный парадокс — каждая нация стремится продемонстрировать свою глубочайшую укорененность в отдаленной древности.

Нации формируются в результате взаимодействия таких факторов, как политика, технология, трансформация общества. Кодифицированный национальный язык, например, не может появиться до появления книгопечатания, массовой грамотности и, следовательно, массового образования. Исходя из этого, Э. Хобсбаум утверждает, что нации и связанные с ними явления должны анализироваться, исходя из политических, экономических, административных и других условий и требований.

Многофакторный характер образования наций требует, по мнению Э. Хобсбаума, рассмотрения двух уровней — сверху и снизу. Нация конструируется преимущественно сверху, усилиями правительств, ораторов и активистов националистических (или ненационалистических) движений, но ее не возможно понять без анализа того, что происходит внизу — без анализа представлений, надежд, потребностей, стремлений и интересов простых людей — объектов националистической активности и пропаганды, которые не обязательно национальны и до сих пор менее националистичны. Э. Хобсбаум отмечает, что эти реалии «внизу» — идеи, мнения и чувства на уровне сознания неграмотных масс чрезвычайно сложны для познания, но, по крайней мере, три момента представляются достаточно ясными. Во-первых, официальные идеологии государств и движений не являются ориентирами для того, что происходит в сознании даже наиболее лояльных граждан и наиболее активных сторонников. Во-вторых, национальная идентификация для большинства людей не только не исключает существование других форм идентичности, но и сочетается с ними, даже находясь в господствующем положении. И, в-третьих, национальная идентификация может существенно меняться и сдвигаться во времени и даже на протяжении относительно непродолжительного периода [357, с. 11]. В любом случае, вне зависимости от социальных параметров группы, первой охваченной «национальным сознанием», народные массы — рабочие, служащие, крестьяне — будут последними, на кого оно окажет воздействие.

Акцентируя внимание на роли социальной инженерии в формировании современных наций, Э. Хобсбаум в то же время подчеркивает, что это не означает возможности конструирования наций буквально из ничего. Более того, с его точки зрения, далеко не все национальности и языки (лингвистические группы) должны иметь независимое будущее, т. е. стать полноценными нациями [357, с. 35, 36]. Есть три критерия, которые позволяют на

практике классифицировать народ как нацию. Во-первых, это связь с государством, существующим или существовавшим достаточно долго в недавнем прошлом. С этой точки зрения не возникает никаких сомнений в существовании английской, французской, (велико-)русской или польской нации-народа. Во-вторых, это существование долговременной и стабильной группы культурной элиты, владеющей письменным национальным литературным и административным языком. Именно это было основанием итальянского и германского движений за создание национального государства. В обоих случаях национальная идентификация имела сильно выраженный лингвистический характер, хотя национальным языком (литературной нормой) владело ничтожное меньшинство населения. В-третьих, это реальная способность к экспансии, в данном случае, способности внедрить в сознание населения идею о его коллективном существовании. «Остальные кандидаты на получение национального государства, — заключает Э. Хобсбаум, — однозначно не исключаются из списка претендентов, но они не имеют однозначных шансов в этой борьбе» [357, с. 38].

Особый интерес представляет замечание Э. Хобсбаума относительно научной этики исследований истории наций. Ссылаясь на известную фразу Э. Ренана о том, что «искажение истории представляет собой составную часть существования нации», Э. Хобсбаум еще раз подчеркивает элемент искусственного мифотворчества в процессе становления наций. Исходя из этого, он заявляет, что историк, не имеющий права на искажение прошлого, не может быть националистом. Историки должны «оставлять свои убеждения пред входом в библиотеку или рабочим кабинетом» [357, с. 13].

К числу современных представителей «модернистской» школы относится британский исследователь Джон Броили, автор фундаментального труда «Национализм и государство» [337]. Он предлагает оригинальное видение национализма как формы политической стратегии, вызванной и направленной на решение одной из важнейших социально-психологической проблемы — утраты чувства общинности в результате непреодолимого раскола между обществом и современным государством. В одной из своих последних работ «Государство и национализм» [336] Дж. Броили постулирует, что национализм не может быть понят вне контекста государства и наоборот. Свои научные принципы он характеризует как «государственно-ориентированные и модернистские»

[336, с. 32]. Это означает, что нация не имеет сколько-нибудь значимой домодерной истории, в качестве реальной группы, обладающей идентичностью и самосознанием, способным, в свою очередь, привести к созданию «нации-государства». Нация — это сугубо современное политическое и идеологическое явление, формирующееся в тесной связи с территориальным, суверенным и демократическим государством. Национальные чувства и доктрины могут играть определенную роль в возникновении национальных движений, однако часто они возникают и при отсутствии каких-либо значительных домодерных этнических сантиментов и идеологий. Более того, подобные чувства и доктрины скорее являются продуктом мифотворчества самих национальных движений [336, с. 49].

Дж. Броили считает возможными два варианта соотношения нации и национализма. С одной стороны, модернизация создает нации как самостоятельные группы, а они в свою очередь производят национализм. С другой стороны, модернизация провоцирует формирование национализма или, точнее, оппозиционной интеллигенции, которая производит и использует национализм для создания нации-государства, а оно в свою очередь производит сознание национальности. При этом на первой стадии формирования наций-государств в XIX в. образование государства предшествовало распространению массовой национальной идентичности. В XX в., когда существование наций-государств стало нормой, народная национальная идентичность могла предшествовать формированию нации-государства [336, с. 50].

Наибольший интерес в работах Дж. Броили представляет анализ роли различных социальных слоев и групп в процессе становления наций. В качестве таких групп он выделяет «традиционный» правящий класс (аристократию, религиозную иерархию), средний класс (предприниматели, мелкая буржуазия), рабочий класс, крестьянство, бюрократию и интеллигенцию.

Дж. Броили отмечает, что национализм часто ассоциируется с политическими изменениями в пользу новых элит. Поэтому чаще всего традиционный правящий класс противодействует национализму. Однако это далеко не всегда так. В Польше, Венгрии и Японии аристократия, особенно среднего уровня противостояла существующему государству от имени нации. Кроме того, во всех трех случаях существенную роль сыграло многочисленное бедное дворянство [337, с. 26].

Позиция традиционных религиозных властей во многом схожа с земельной аристократией. Как правило, церковная иерархия враждебна радикальному и секулярному по своей сути национализму. Однако в ряде конкретных случаев, например, ирландском, румынском и греческом, религиозные и националистические лидеры противостояли общему врагу. Более того, часто сами идеи национализма излагались при помощи религиозной терминологии. А большинство населения в итоге относилось к национальности и религии как к чему-то неразделимому [337, с. 28].

В отношении к предпринимателям-капиталистам Дж. Броили отмечает, что понимание их в качестве наиболее заинтересованной в замещении доминирующих традиционных классов социальной группы, и, следовательно, и в национализме разделяется как марксистами, так и немарксистами. Цель этой группы — создание крупных современных конституционных государств, представляющих собой масштабные зоны свободной торговли и наиболее оптимальных для быстрого индустриального развития. Вместе с тем, отмечает Дж. Броили, очевидно, что в венгерском и польском случаях предприниматели не играли существенной роли. А в колониальных обществах буржуазия часто противодействовала национализму из-за боязни, что в будущем такой режим может ограничить свободу предпринимательства. Даже в таких случаях как германский и итальянский, предприниматели занимали достаточно противоречивую позицию и их поддержка объединению была относительно незначительной. В целом, констатирует Дж. Броили, предприниматели поддерживают национализм лишь в тех случаях, когда он отвечает их сиюминутным и конкретным интересам. Чаще всего это защита уже достигнутых позиций в экономике. Предположение, что бизнес-интересы способны повлиять на формирование долгосрочного национального движения, является не более чем мифом [337, с. 30]. В целом представители аристократии, предпринимательских кругов и церковной иерархии могут делегировать лидеров или оказать финансовую поддержку национальному движению, но сами по себе они не способны придать ему массовый характер.

Среди потенциально массовых участников национального движения Дж. Броили особо выделяет мелкую буржуазию — слой ремесленников, мелких торговцев, владельцев небольших магазинов, враждебных к развитию новых технологий производства и продаж и стремящихся к сохранению небольших, хорошо контролируемых рынков локального уровня. Концентрация таких групп в крупных

городах, включая столицы, наличие традиционных организационных структур превращало их в одну из главных движущих сил массовых политических движений. Их естественной тенденцией было самовыражение скорее в популистских, чем в классовых понятиях, например в формуле «маленького (простого) человека». Такой тип политической фразеологии мог быть с легкостью ассимилирован национализмом с его естественной идентичностью, сотворенной на стыке «народа» и «нации» **[337,** с. **34].** Вместе с тем для вовлечения мелкой буржуазии в национальное движение необходима возможность культурной (этнической) артикуляции социальных противоречий. Например, движение бойкота немецких товаров, проводимое чешскими националистами в XIX в., было с энтузиазмом поддержано чешскими ремесленниками и торговцами. В западной Африке рыночные торговцы и ремесленники сыграли ведущую роль в националистическом движении вследствие стремления удалить с рынка таких конкурентов, как европейские и азиатские торговые корпорации.

Значительное внимание Дж. Броили уделяет роли рабочего класса в национальных движениях. Многие историки, особенно придерживающиеся левых взглядов, считают неизбежным несовпадение интересов рабочего класса и ценностей национализма. Однако, по мнению Дж. Броили существует ряд ситуаций, когда рабочие поддерживают национализм, в том числе тогда, когда нация-государство просит их о поддержке, когда рабочие поддерживают одну из сторон в национальном конфликте, когда они поддерживают борьбу за независимость и т. д.

В отношении крестьянства, определяемого как группа населения, получающая основные средства к существованию от обработки земли в семейных хозяйствах, Дж. Броили отмечает, что его родь в политических и, в том числе, националистических движениях была значительна главным образом за пределами Европы. Исключением была Ирландия, а также ряд националистических движений в Центральной и Восточной Европе в конце XIX в. [337, с. 45].

Особое внимание Дж. Броили уделяет роли интеллигенции в национальных движениях, подразделяя ее согласно западной традиции на «профессионалов» — специалистов с университетским образованием, занятых, как правило на государственной службе (чиновники, учителя и т. д.), и «интеллектуалов», т. е. вообще образованных людей. Хотя на ранних, элитных стадиях развития национализма «профессионалы» были многочисленны, в

целом в исторической перспективе они не могли стать его ста-

бильной социальной базой. По определению большинство «профессионалов», особенно занятых на государственной службе, стремится к сохранению *status quo,* так как они сумели обрести определенный социальный статус в уже сложившейся системе социальных институтов. «Типичный же националист это интеллектуал, который не смог стать профессионалом» [337, с. 49]. Особую роль среди интеллектуалов он отводит юристам, журналистам и университетским профессорам, т. е. личностям материально относительно независимым от власти и имеющим достаточно свободного времени для общественной деятельности. Однако, подчеркивает Дж. Броили, не следует преувеличивать роль интеллектуалов именно в развитии национализма, они достаточно многочисленны вообще во всех политических движениях. Национализм не может быть рассмотрен как политика интеллектуалов, так как, по Дж. Броили, невозможно рассматривать его в качестве политики какого-либо определенного класса [337, с. 51].

Выводы Дж. Броили представляются вполне обоснованными и убедительными, несмотря на то, что они подвергают сомнению многочисленные стереотипы, характерные, прежде всего для марксистской традиции понимания феноменов нации и национализма. Его точка зрения подтверждается и рядом исторических исследований национальных движений, например, Я. Грицака и Т. Рауна.

К числу типично «модернистских» исследований феномена нации относится и работа чешского историка Мирослава Гроха «Социальные предпосылки национального возрождения в Европе» [358]. Хотя сам М. Грох не считает ее теоретической, даже такой придирчивый критик как Э. Геллнер охарактеризовал ее как «феноменологию нации», а Э. Хобсбаум — как «великолепную» и «прокладывающую путь». Для нас особую ценность представляет то, что работа М. Гроха написана преимущественно на материале Центрально-Восточной Европы, при этом в контексте сравнительного анализа неоднократно встречаются оценки национального возрождения белорусов. Добавим к этому, что и другие авторы прибегают к типологии М. Гроха для характеристики процесса формирования белорусской нации [53, с. 71].

М. Грох характеризует свою работу не как подлинную теорию, а скорее, как классификацию и оценку опыта национального строительства, рассмотренную в широком национальном и культурном контексте. Он считает неправомерным сводить этот процесс единственно к распространению идей национализма, так как он может происходить только при определенных, специфических социальных условиях. Формирование нации никогда не бывает только проектом амбициозных, склонных к нарцисизму интеллектуалов. «Изобретение» ими национальной общности возможно лишь в том случае, когда существуют необходимые объективные предпосылки. Вместе с тем самостоятельные «открытия» наций могут происходить в различных странах независимо друг от друга, при достаточно различных обстоятельствах и в различные эпохи. Предметом сравнительного исследования, считает М. Грох, должно быть изучение подобия тех базовых причин, которые побуждают людей принимать новую национальную идентичность.

Нация, по М. Гроху, это большая социальная группа, объединенная совокупностью объективных отношений определенного типа — экономических, политических, лингвистических, культурных, религиозных, географических, исторических, а также — их субъективным отражением в коллективном сознании [359, с. 79]. Многие из этих отношений взаимозаменяемы, за исключением трех: во-первых, коллективной памяти об определенном историческом прошлом, общей судьбе всей группы, или ее части, «ядра»; во-вторых, наличия такой плотности лингвистических и культурных связей, которая позволяет поддерживать более высокий уровень социальной коммуникации внутри группы, чем за ее пределами (чисто Дойчевский аргумент — примечание наше. — *П.* Г.); и в-третьих, идеи равенства всех членов группы, вытекающего из понимания ее как гражданского общества. Процесс построения нации, основанный на этих трех центральных идеях, необратим. Он может быть прерван, но только на некоторый период времени [359, с. 79].

Специфика процесса формирования наций в Европе, по М. Гроху, во многом обусловлена конкретной ситуацией в эпоху перехода к капиталистической экономике и гражданскому обществу, в свою очередь вытекающей из особенностей исторического развития, по крайней мере с эпохи средних веков. В результате сложились две контрастные стартовые ситуации. Первая типична главным образом для Западной Европы (Англии, Франции, Португалии, Испании, Нидерландов, а также Польши), где государство на ранней ступени модернизации, абсолютистское или сословно-представительское, формировалось на основе доминирования одной отдельной этнической группы. В большинстве этих

случаев позднефеодальный режим трансформировался посредством реформ или революции в гражданское общество одновременно с построением национального государства.

Ситуация в большинстве стран Центрально-Восточной Европы была принципиально иной. Здесь этнически чуждый правящий класс доминировал над группой, занимающей более-менее компактную территорию, но не имевшей «своей» элиты, политической единицы, продолжительной письменной традиции. Такое положение было типично не только для эстонцев, украинцев, словенцев, сербов, но и для большого количества общностей в Западной и Юго-Западной Европе. Существует также еще один важный вариант «перехода», при котором этнические сообщества имели собственный правящий класс и письменную традицию, но не имели общего государства, как, например, немцы, итальянцы и поляки.

Отправным пунктом формирования наций второго типа является появление ограниченного числа представителей недоминантной этнической группы, в среде которых начинают обсуждаться проблемы собственной этничности и потенциальной возможности формирования на ее основе нации. Рано или поздно им приходится сталкиваться с препятствиями на пути к будущей нации, которые они пытаются преодолеть за счет распространения представлений о значении и преимуществах сознания принадлежности к нации. Эту организованную активность М. Грох предлагает называть национальным движением. При этом он подчеркивает, что было бы ошибочным называть его националистическим. Национализм это мировоззрение, которое придает абсолютный приоритет ценностям собственной нации по сравнению со всеми другими ценностями и интересами. «Едва ли можно считать националистами, — считает он, — норвежского поэта Вергеланда, пытавшегося создать язык для своей страны, польского писателя Мицкевича, мечтавшего об освобождении своей родины, или, даже чешского ученого Масарика, который сформулировал и реализовал программу национальной независимости, после того как потратил свою жизнь на борьбу против чешских националистов» [359, с. 81]. Национализм действительно позже становится значительной политической силой в этом регионе, в такой же форме, как и в западных национальных государствах, как государственная политика, сопряженная с некоторыми иррациональными моментами.

Программа классического национального движения имеет совсем другую направленность. Его цель выражается в трех группах типовых требований, соотносимых с основными проблемами

национального бытия. Это, во-первых, развитие национальной культуры, основанной на местном языке и его беспрепятственное использование в образовании, административной и экономической жизни. Во-вторых, это достижение гражданских свобод и политического самоуправления, первоначально в форме автономии и, в конечном итоге, полной независимости (обычно открыто выражаемой достаточно поздно). И, в-третьих, в создании полной социальной структуры, включая высокообразованную элиту, чиновников, предпринимателей, а также, если потребуется, свободных крестьян и организованных рабочих. Относительная приоритетность одного из этих лозунгов может варьировать в каждом отдельном случае. Но путь любого национального движения не может считаться завершенным до тех пор, пока все эти требования полностью не удовлетворены [359, с. 81].

Между начальным этапом и успешным завершением любого национального движения, по мнению М. Гроха, можно выделить три структурные фазы. Именно этот момент его концепции наиболее часто упоминается или используется в работах других исследователей, благодаря чему «фазы Гроха» стали почти что хрестоматийными. Критерием их выделения стали характер активности лидеров национального движения и степень распространения национального самосознания в масштабах этнической группы в целом.

Фаза «А» — начальный период, во время которого дпятгльность активистов направлена преимущественно на научное исследование и популяризацию осознания лингвистических, культурных, социальных и, иногда, исторических особенностей недоминантной группы. Вся эта активность обычно редко сопровождается какими-либо требованиями изменения положения вещей, носящими национальный характер. Более того, часть активистов вообще не уверена в перспективе превращения группы в нацию.

Фаза «Б» — период появления нового круга активистов национального движения, пытающихся мобилизовать как можно большее количество сторонников национального проекта. Они используют патриотическую агитацию для «пробуждения» национального сознания. При этом в рамках фазы «Б» выделяются две субфазы: субфаза «Б-1», когда деятельность активистов не имеет значительного успеха, и субфаза «Б-2», когда они обнаруживают все более восприимчивую аудиторию.

Фаза «В» — период, когда большая часть населения приходит к осознанию своей национальной идентичности, вследствие чего

возникает массовое движение. Именно во время этой финальной фазы возникает полная социальная структура, что в свою очередь обусловливает дифференциацию движения на консервативно-клерикальное, либеральное и демократическое направления, со своими собственными программами [359, с. 81].

На основе корреляции фаз национального движения и конкретной политической ситуации М. Грох предлагает еще более детальную типологию национальных движений.

Тип 1 — вариант, когда национальная агитация (фаза «Б») начинается в условиях абсолютистского режима и добивается массовой поддержки в тот момент, когда рабочее движение уже способно заявить о себе самостоятельно. К этому типу М. Грох относит чешское, венгерское и норвежское движения, которые вступили в фазу «Б» примерно около 1800 г., а фазы «В» норвежцы достигли к 1814 г., чехи и венгры — к 1848 г.

Тип 2 — вариант, когда национальная агитация также начинается при старом абсолютистском режиме, а фаза «В» достигается значительно позже — во время конституционной революции. Такое развитие событий характерно для хорватов, словенцев, литовцев, латышей, словаков и украинцев. Отставание было обусловлено либо экономическими причинами, либо насильственной ассимиляцией. Так, хорваты достигали фазы «Б» примерно к 1830 г., а фазы «В» — 1880 г. Принудительная мадьяризация словаков после 1867 г., равно как и русификация украинцев, затормозила переход их движений на стадию «В».

Тип 3 — вариант, когда национальное движение добивается массовой поддержки в условиях старого абсолютистского режима. Такой вариант обычно приводит к вооруженному восстанию, как, например, у сербов, греков и болгар.

Тип 4 — вариант, когда начальный этап национальной агитации приходится на период конституционного строя и достаточно развитых капиталистических отношений. Национальное движение может достигнуть фазы «В» достаточно рано, как, например, во Фландрии, стране басков или Каталонии, или после достаточно длительной фазы «Б», или же вообще так ее и не достигнуть — как, например, в Уэльсе, Шотландии и Бретани [359, с. 82—83].

Столь значительные различия в темпах и конечной успешности национальных движений приводят М. Гроха к постановке едва ли не самого важного вопроса его исследования — почему одни движения более успешны, другие — менее, третьи — вообще не имеют успеха. Ответ должен начинаться с анализа начальной ста-

дии национальных движений. При этом различия здесь куда глубже простого разделения на «государственные» и «безгосударственные» этносы. В рамках последнего, «безгосударственного» типа он выделяет, по крайней мере, еще четыре варианта.

Вариант 1 — наличие определенных реликтовых форм политической автономии как основания национального сопротивления, как, например, у венгров, хорватов, финнов и норвежцев в XVIII в.

Вариант 2 — когда «память» о прежней независимости или государстве может играть значительную стимулирующую роль в развитии национального сознания, как в случаях с чешскими землями, Литвой, Болгарией, Каталонией.

Вариант 3 — наличие более или менее сохранившейся традиции средневековой письменности, как, например, у финнов.

Вариант 4, характерный для словенцев, словаков, эстонцев, когда не было ни государственной, ни письменной традиции [359, с. 84—85].

Так как и такая форма анализа не позволяет дать исчерпывающий ответ на поставленный вопрос, например, о столь разительных отличиях между эстонским и словацким движениями, М. Грох выдвигает серию новых вопросов. В частности, почему чисто научный интерес в изучении какого-либо региона провоцирует эмоциональную реакцию? Или, каким образом региональный патриотизм превращается в идентификацию с этнической группой как с потенциальной нацией? В этом контексте он пытается протестировать национальные движения с позиций геллнеровско-дойчевских постулатов о сопряженности национальных движений с развитием социальной мобильности и средств массовой коммуникации. По миопию М. Грохп тпкой инплия поппплипт выделить два противоположных варианта. Один иа них — регион Полесья с минимальной социальной мобильностью, слабыми связями с рынком и низким уровнем грамотности, и как результат с такой формой самосознания как «тутэйшыя». Аналогичная ситуация была характерна для Восточной Литвы, Западной Пруссии, Нижне-Лужицкой области и целого ряда балканских регионов [359, с. 86]. Однако, с другой стороны, есть полностью противоположные случаи Уэльса, Бельгии или Бретани, с высоким уровнем мобильности и развитой коммуникацией, но исключительно низкой отзывчивостью к национальной агитации.

Исходя из этого М. Грох полагает, что помимо факторов мобильности и коммуникации определяющее значение имеет еще

один — наличие национально соотносимого социального конфликта интересов, социального напряжения, которое было возможно облечь в культурную или лингвистическую форму. С этой точки зрения типичным для XIX в. был конфликт между выходцами из среды недоминантной группы с университетским образованием, с одной стороны, и закрытым наподобие касты слоем элиты, сохранявшей наследственный контроль над важнейшими позициями в обществе и государстве, с другой. Сюда же относятся и столкновения между крестьянами подчиненной группы и землевладельцами доминирующей. Однако и такой подход не дает окончательного ответа на поставленный вопрос, так как не до конца понятно, почему национальная артикуляция социальных конфликтов в одних регионах Европы происходила успешнее, чем в других. С точки зрения М. Гроха, в данном случае влияние оказывал фактор развитости политической культуры и инфраструктуры. Национальное движение оказывалось успешнее там, где оно было возможной формой политической активности, как, например, в Эстонии. В то же время в современных Уэльсе, Шотландии, Фландрии существует множество альтернатив национальному движению, а потому ему так не просто завоевать массовую поддержку.

В конечном итоге, по мнению М. Гроха, успех национального движения зависит, по меньшей мере, от четырех факторов. Во-первых, от наличия кризиса легитимности, связанного с социальными, моральными и культурными проблемами; во-вторых, от наличия принципиальной возможности вертикальной социальной мобильности, как минимум для некоторого числа представителей недоминантной группы; в-третьих, от наличия относительно высокого уровня социальной коммуникации, включая письменность, образование и рыночные отношения; и в-четвертых, от наличия потенциально национально-выразимого конфликта социальных интересов [359, с. 87, 88].

М. Грох, как видно, сумел обойти такие крайности «модернистского» подхода, как чрезмерное акцентирование значения инструментализма. Ему, пожалуй, как никому другому удалось максимально учесть различные факторы, определяющие особенности национальных процессов. Вместе с тем далеко не со всеми его выводами можно однозначно согласиться, что будет продемонстрировано в дальнейшем.

К «модернистскому» направлению близка теоретическая концепция американского политолога Бенедикта Андерсона, автора

одного из самых известных и самых цитируемых исследований по теории нации «Воображаемые сообщества. Размышления о происхождении и распространении национализма» [326]. Хотя многие специалисты считают его представителем постмодернизма, на наш взгляд оснований для этого явно недостаточно.

Отправной точкой анализа Б. Андерсона является утверждение о том, что национализм, национальность, нацио-нальное (именно в таком написании предлагает это слово Б. Андерсон) относятся к числу культурных артефактов особого типа. Возникнув в конце XVIII в. в результате спонтанного взаимодействия различных исторических сил, они стали образцом, моделью, пригодной для трансплантации, в различной степени осознанной, в самые разнообразные социальные среды. Эти артефакты получили также способность сочетаться и быть сочетаемыми с широким кругом разнообразных политических и идеологических феноменов.

Наибольшую известность Б. Андерсону принесло, на первый взгляд парадоксальное, вынесенное в заголовок его монографии определение нации как воображаемой политической общности. Он подчеркивает, что это определение выдержано «в антропологическом духе» и означает, что нация — это воображаемое, одновременно естественно лимитированное и суверенное сообщество [326, с. 6].

Во-первых, нации есть воображаемые сообщества, так как члены даже самых малочисленных наций никогда не могут быть знакомы со всеми своими «соплеменниками», встречались с ними лично или хотя бы слышали о них. Но в сознании каждого из них живет воображаемый образ их общности. Действительно, все человеческие сообщества, превышающие своим размером деревню, с ее повседневными личностными контактами, являются воображаемыми.

Во-вторых, нация есть воображаемое лимитированное сообщество, так как даже крупнейшие из них имеют некоторые определенные границы, за пределами которых существуют другие нации. Ни одна из наций не воображает себя в качестве всего человечества. Даже наиболее одержимые мессианизмом не мечтают об этом, как, например, христиане о полностью христианской планете.

В-третьих, нация есть воображаемое суверенное сообщество, так как ее идея была рождена в эпоху Просвещения и революций, разрушавших легитимность божественно-организованных иерархических династических королевств. Зрелость идей национальности наступила в тот момент, когда была подорвана уверенность

в способности религии быть основанием политической системы. Такой основой становилась национальность. Нации мечтали о свободном существовании, и стандартной эмблемой такой свободы стало суверенное государство.

В-четвертых, нация есть воображаемое как сообщество, так как безотносительно к реальному неравенству и наличию эксплуатации, которые присутствуют в каждой из них, она всегда воображается как самое настоящее братство. В конечном итоге именно это братство и делает возникновение нации возможным. И это именно то, во имя чего столько миллионов людей погибло за последние два столетия. Эти смерти, подчеркивает Б. Андерсон, ставят нас перед лицом центральной проблемы национализма: каким образом эти воображения приводят к столь колоссальным жертвам [326, с. 7].

С точки зрения Б. Андерсона все это объяснимо абсорбцией национализмом некоторых функций религии. Это не означает простой ее подмены. Но именно нация в современном мире, как вневременная межпоколенная общность, представляет символическую возможность бессмертия для индивидуума.

Особую роль в процессе формирования наций сыграл так называемый «печатный-капитализм» — феномен, анализ которого занимает одно из центральных мест в концепции Б. Андерсона. Именно он позволил быстро возрастающему количеству людей осмыслить себя и других принципиально новым способом. Именно книгопечатание, или, точнее, «печать-как-товар», стало ключевым моментом в создании сообществ нового типа, «горизонталь - но-секулярных и вневременных» [326, с. 36, 37].

Б. Андерсон подчеркивает, что книгоиздательство было одной из ранних форм капиталистического предпринимательства. И, будучи таковым, неизбежно должно было заниматься поиском все новых и новых рынков сбыта продукции. Первоначально таким рынком была образованная Европа — широкий, но в то же время немногочисленный слой латиноговорящих читателей. Сама логика существования капитализма обусловила то, что когда этот рынок был исчерпан, единственным путем развития стало использование потенциальных массовых рынков — народных масс, говорящих на диалектах. Существовало три фактора, которые усиливали этот процесс. Во-первых, это изменение самого характера латыни, которая благодаря усилиям гуманистов стала разговорной, пригодной для повседневной жизни, а не только для сакральных целей. Во-вторых, воздействие Реформации. Б. Андерсон отмечает, что Мартин Лютер, чьи тезисы в течении 15 дней стали известны во всей Германии, стал, по существу, первым автором бестселлера, или, другими словами, первым автором, который смог продавать свои книги, как свои собственные [326, с. 39]. И, в-третьих, это медленное распространение нескольких отдельных разговорных языков как инструментов административной централизации в нескольких укорененных абсолютистских монархиях (Англии, Франции и Испании).

Б. Андерсон подчеркивает, что формирование наций — новых воображаемых сообществ, становилось возможным как результат взаимодействия между системой производственных отношений (капитализмом), технологией коммуникации (печать) и фатальностью лингвистического разнообразия человечества. Этот последний элемент представляется наиболее существенным [326, с. 5].

Отдельный язык может утрачивать свои функции и исчезнуть, однако не существовало и не существует возможности языковой унификации всего человечества. В «допечатной» Европе, как и повсюду, разнообразие разговорных языков было чрезвычайно большим — настолько большим, что печатный капитализм пытался использовать каждый из них в качестве потенциального рынка. Однако существовали различные диалекты, пригодные для собирания, с некоторыми ограничениями, в ограниченное количество печатных языков. И именно печатный капитализм, в пределах налагаемых грамматикой и синтаксисом, создает механически воспроизводимые печатные языки, пригодные для распространения через рынок.

Печатные языки закладывают основания формирования национального самосознания посредством трех различных способов. Во-первых, они создавали унифицированное поле обмена информацией на уровне «ниже» латыни и «выше» разговорного диалекта. В результате носители огромного количества разнообразных французских, английских и испанских диалектов, которые с трудом понимали и, даже, вообще не понимали друг друга, получили возможность общаться при помощи бумаги и печати. В процессе этого они постепенно осознают наличие сотен тысяч и даже миллионов людей, использующих один и тот же язык — коммуникативное поле, и то, что он принадлежит только этим сотням тысяч и миллионам. Они становятся «товарищами по чтению», связанными между собой печатью, и формируют особую секулярную видимую невидимость — эмбрион национально воображенного сообщества.

Во-вторых, печатный капитализм придает новый порог фиксированности языка, помогающий построить имидж древности, столь значимый для субъективной идеи нации. И, в-третьих, печатный капитализм создает «язык-власти», отличный от прежней формы административного языка. Некоторые диалекты неизбежно оказывались ближе к печатному языку и определяли его окончательную форму. В то же время их менее удачливые сородичи утратили свое социальное положение, прежде всего потому, что они не имели успеха (или только были менее удачливы) в создании своей собственной печатной формы. Так «северо-западный немецкий» превратился в «плятт-дойч», потому что он был податлив ассимиляции «печатно-немецким», в то же время разговорный чешский в Богемии — нет [326, с. 45].

Таковы основные постулаты оригинальной концепции Б. Андерсона. Необходимо подчеркнуть, что, будучи специалистом в области Юго-Восточной Азии, он уделил большое внимание формированию наций в этом регионе, в том числе воздействию колониальной администрации на этот процесс. Б. Андерсон подчеркивает, что официальный национализм в колонизированных обществах Азии и Африки был смоделирован колониальными державами. Хотя их политика была типично антинационалистичной, в самой «грамматике» колониальной идеологии явно прослеживается родственная связь с национализмом. Эта грамматика опиралась на три института власти: переписи, карты и музеи, которые вместе взятые сформировали способ «воображения» колониальными державами своих владений — природы человеческих существ, которыми они правили, географии территории их обитания, основания их происхождения [326, с. 164].

В частности Б. Андерсон приводит пример роли переписи 1911 г. в формировании «малайской» идентичности, подчеркивая, что на момент ее проведения только незначительная часть населения осознавала себя малайцами [326, с. 165]. Что касается карт, Б. Андерсон ссылается на таиландского историка Тонгчаи Виничакул, охарактеризовавшего их как «научную абстракцию реальности с точки зрения теорий коммуникации» [326, с. 171]. Он подчеркивает, что «в истории соотношение карты и реальности полностью противоположно. Иными словами, карта была моделью для, а не моделью того, что она должна была представлять» [326, с. 175]. Также как в отношении карт, продолжает Б. Андерсон, «и музеи и "музеемизированные представления" глубоко политизированы» [326, с. 178]. Музейные ценности, а

также археологические и архитектурные памятники становятся символами воображаемых сообществ, их эмблемой (например, как храмовый комплекс Ангкор в Кампучии).

Все три института власти — переписи, карты и музеи, взаимно переплетены и часто дополняют друг друга (например, карта исторических памятников) и играют большую роль в формировании национальной идентичности.

Как видно, Б. Андерсон разделяет базовые постулаты «модернизма», признавая то, что нации — продукт капиталистической модернизации. Вместе с тем, увязывая их формирование с феноменом печатного капитализма, он позволяет проследить этот процесс не с XIX в., а со значительно более раннего периода, и, таким образом действительно отходит от традиций «модернистского» подхода. Особый интерес для изучения этнической истории Центрально-Восточной Европы и Беларуси представляет положение Б. Андерсона о том, что национальный образ народа не обязательно формируется национальными лидерами, а силами, которые непосредственно не заинтересованы в появлении новой нации.

Если «модернизм» как направление обнаруживает некоторое внутреннее единство, то концептуально противостоящие ему течения чрезвычайно многолики. Давать характеристику всем им едва ли представляется возможным. Поэтому мы остановимся на тех, которые могут быть наиболее продуктивно использованы для решения поставленной в данном исследовании темы.

Пожалуй, наиболее контрастным по отношению к «модернистскому» направлению выглядит так называемый «примордиализм». Подобрать адекватный эквивалент этому термину в русском языке весьма сложно, поэтому, как правило, его не переводят. Наиболее близким, отражающим его содержание, был бы термин традиционализм. Но последний излишне многозначен. Значение «примордиализма» скорее можно понять из контекста научных публикаций. Общепризнанным создателем этой концепции считается лидер американской постмодернистской антропологии Клиффорд Гирц. Тексты его, в том числе и наиболее цитируемая в сфере теории нации статья «Примордиальные узы», чрезвычайно сложны для восприятия, впрочем, в полном соответствии с постмодернистской доктриной. Позволю себе небольшую цитату, не нуждающуюся в дополнительных комментариях. «Лишенная смысла аура концептуальной двойственности, окружающая термины «нация», «национальность» и «национализм», была пространно обсуждена и обстоятельно оплакана едва ли не в

каждой работе, посвященной энергичному анализу соотношения общинной и политической принадлежности. Но поскольку предпочитаемое лекарство должно было принять форму такого теоретического эклектицизма, который, пытаясь воздать должное многогранной природе изучаемых проблем, имел склонность путать политические, психологические, культурные и демографические факторы, реальное ограничение этой двойственности не зашло очень далеко» [349, с. 108]. Таким образом К. Гирц характеризовал состояние дел в теории национализма в начале 1960-х гг. Вместе с тем за очевидной переусложненностью стиля скрываются чрезвычайно содержательные идеи. Под примордиальными узами К. Гирц понимает совокупность до- и внесобственно национальных отношений, которые на самом деле определяют характер формирующейся нации. Это то, «что происходит от данности, или, более точно, поскольку культура неизбежно вовлечена в такие вопросы предписанной данности социального существования: непосредственного общения и кровных связей главным образом, но, кроме них на данности, которая обусловлена самим рождением в конкретном религиозном сообществе, говорящем на отдельном языке, или, хотя бы, диалекте языка и имеющего особые формы социальной жизни. Эти сходства по крови, речи, традиции и так далее, как замечено, имеют сложно выражаемую и временами непреодолимую, принудительную силу как по отношению к людям, так и по отношению к самим себе» [349, с. 109]. По мнению К. Гирца, эти отношения вступают в острейшее противоречие с заимствованной (в подавляющем большинстве случаев) идеей национального государства. С одной стороны, не только лидеры, но и более широкие слои населения понимают, что приобрести сколько-нибудь значимое положение в современном мире возможно лишь в результате построения современного, индустриального, динамичного и демократического государства, основанного на национальном единстве. Но, с другой стороны, все эти преобразования неизбежно означают ломку « примордиальных » отношений, а, следовательно, и утрату связанной с этими отношениями идентичности и, что самое главное, социального статуса. К. Гирц подробно анализирует значение таких «примордиальных» факторов, как квази-родственные связи (т. е. по существу социальных, но выраженных в форме родственных), расовой принадлежности, «лингвизма» (т. е. соотношения социальной и лингвистической структуры), регионализма, религиозной принадлежности, социокультурной иерархии. Последний фактор представляет особый интерес. К. Гирц формулирует его в понятиях обычаев. «Различия в обычаях формируют основу для определенной степени отсутствия национального единства почти всюду, имеют особое значение в тех случаях, когда интеллектуально и (или), скорее артистически развитая группа рассматривает себя в качестве носителя «цивилизации» по отношению к, в массе своей варварскому, населению, которому рекомендуется брать с этой группы пример» [349, с. 113]. Хотя рассуждения К. Гирца строятся на примерах модернизации стран «третьего мира» в середине XX в., они могут быть интерпретированы и на более широком материале, включая этническую историю периферийных областей Европы (Балканы, Центрально-Восточная Европа и т. д.).

Не менее чем «примордиализм», оппозиционен по отношению к «модернизму» так называемый «перенниализм» (буквально — протяженный, длительный). С точки зрения его сторонников, нации и национализм не только не являются изобретением Нового времени, но существовали задолго до него. Поэтому можно говорить об античных и средневековых нациях. Так, Джон Армстронг, автор фундаментального труда «Нации до национализма» [329], считает, что не только истоки многих современных наций можно проследить, начиная с глубокой древности (речь идет о евреях, армянах, греках, персах и т. д.), но и сам термин нация может быть применен к большому количеству форм коллективной идентичности, обнаруживаемых на протяжении письменного периода истории человечества. Пожалуй, наиболее значимая фигура этого направления — английский историк религии Адриан Хастингс. Центральное место в его исследованиях занимает изучение влияния так называемого «национализма Ветхого Завета» на формирование национальной идентичности европейских народов, в первую очередь, англичан. Что касается Библейского национализма, то в самом деле содержание этой книги может быть интерпретировано как этноцентричное описание истории еврейского народа, в которой он выступает как консолидированная общность с устойчивой идентичностью. А. Хастингса впрочем больше интересует не сам этот феномен, а то, что мир, как сообщество наций изначально «воображен» сквозь призму Библии как базовой книги, учебника европейской цивилизации [355, с. 3]. Библия, утверждает он, предоставила, по крайней мере, христианскому миру оригинальную модель нации. А. Хастингс противопоставляет нацию этничности т. е. базовому конструктивному элементу донациональных обществ, группе людей, имеющих об-

щую идентичность и разговорный язык. Нация же отличается более высоким уровнем самосознания, идентифицируется с письменным языком, обладает или предъявляет претензии на политическую автономию, т. е. контроль над определенной территорией, сопоставимой с библейским Израилем. Без библейской модели нации, ее христианской интерпретации национализм едва ли имел бы шансы на существование.

По мнению А. Хастингса идеальная библейская модель впервые была воплощена в наиболее полном смысле в формировании английской нации и национального государства. Этот процесс можно проследить не с эпохи капиталистической модернизации, и, даже не с эпохи Возрождения, а, по меньшей мере, с X века, то есть с донорманнского периода.

С тем, что английская нация является прототипом, моделью национального развития для всего остального мира, с А. Хастингсом солидаризуется американская исследовательница Лиа Гринфелд. Некоторые историографы, например Э. Смит, склонны связывать ее концепции с «перенниализмом», однако на мой взгляд это не совсем точно. Возьму на себя смелость именовать представляемое ею направление «аксиологией национализма». Действительно, именно привнесением оценочного момента, подразделением различных форм национализма на «хорошие», «не совсем хорошие» и «плохие» она в первую очередь обязана своей известностью.

Ее наиболее известная работа — «Национализм: пять дорог к модерности» [353], вне всякого сомнения перекликается с идеями американского ученого середины XX в. Ханса Кона, который одним из первых противопоставил западный и восточный типы национализма. Национализм по Х. Кону это состояние ума, это идея, не только наполняющая сознание новыми мыслями и сантиментами, но и побуждающая к организованным политическим действиям. И идея, и сама форма национализма была развита задолго до современности — во времена древних римлян и греков и была заново открыта в эпоху Ренессанса и Реформации. Ретеологизация Европы в ходе контрреформации не позволила идее греко-романского патриотизма внедриться в массовое сознание, но (это положение Х. Кона чрезвычайно интересно) Реформация и, особенно, кальвинизм «возродили национализм Старого Завета» [363, с. 19]. В Англии, в результате благоприятных условий, представление об англичанах как об избранном народе сформировалось и утвердилось на массовом уровне во время революции середины XVII в.

Не менее интересно замечание о том, что «каждый новый национализм получает первоначальный импульс развития от некого более развитого национализма» [363, с. 339]. При этом западный национализм формировался в результате усилий построить нацию в условиях политических реалий и борьбы без каких-либо существенных сантиментов относительно прошлого. В то же время в Центральной и Восточной Европе национализм созидался, главным образом, из мифов о прошлом и мечтаний о будущем. Западный национализм по своему происхождению был связан с идеями индивидуальной свободы и рационального космополитизма. На Востоке национализм развивался в другом направлении. Зависимый по факту своего происхождения и противопоставляющий себя импульсам извне, он не был укоренен в политических и социальных реалиях. Основанный на этих фактах комплекс неполноценности часто компенсировался сверхакцентацией и сверхсамоуверенностью. Рожденный в Германии, России и Индии национализм представлялся его создателям как нечто бесконечно более глубокое, чем национализм на Западе. Его типичными чертами стали размышления о «душе» и «миссии» нации и бесконечные дискуссии об отношении к Западу [363, с. 330].

Национализм на Западе был основан на социальных и политических фактах, на Востоке — в Германии, например, напротив, на «естественных» фактах существования сообщества, основанного не на собственном желании его членов или взаимных обязательствах, а на основе традиционных родственных и статусных связей. Вместо правовой и рациональной концепции гражданства как основы нации была использована бесконечно неопределенная концепция «народа», изначально открытая немецкими гуманистами и, позже разработанная Гердером и немецкими романтиками [363, с. 331]. В своих более поздних работах Х. Кон предложил подразделять национализм западного типа на «индивидуалистский» — англо-саксонский и «коллективистский» — французский [388, с. 182].

В своих принципиальных оценках Л. Гринфелд мало чем отличается от Х. Кона. Она четко подразделяет национализм на «хороший-индивидуалистский-гражданский» (в англосаксонских странах), «не очень хороший-коллективистский-но, гражданский» (французский) и «плохой-этнический» (германский, российский, центральноевропейский). В отличие от Х. Кона Л. Гринфелд глубоко анализирует конкретные пути формирования того или иного типа национализма, чем и интересна ее работа.

Принципиальное значение имеет ее положение о том, что для каждого «члена нации» его общность представляется как социально однородное явление, нивелирующее в сознании реально существующую статусно-классовую иерархию. Это представление, по Л. Гринфелд, единственное, что объединяет различные формы национализма. Под национализмом она предлагает понимать «источник индивидуальной идентичности, сфокусированной на "народе", понимаемом в качестве носителя суверенитета, объекта подданства и основы коллективной солидарности» [353, с. 7]. Л. Гринфелд предлагает относить национализм к числу новообразований, чья природа и возможности развития определяются не характером составных частей, а неким организующим принципом, превращающим набор элементов в единое целое [353, с. 8].

Оригинальная идея нации, согласно Л. Гринфелд, возникла в XVI в. в Англии, которая стала первой нацией в мире и оставалась таковой на протяжении последующих двух столетий (с единственным возможным исключением — Голландией). Ранее термин «нация» обозначал лишь элиту общества [353, с. 14]. Но образовавшаяся за счет восходящей социальной мобильности в эпоху Тюдоров новая английская аристократия постаралась превратить имидж такой мобильности из аномальной в нормальную. Это было сделано за счет распространения термина «нация» на весь английский народ, включая плебейские слои, из которых вышла значительная часть новой аристократии. В результате этой редефиниции каждый член социума был поднят до уровня элиты и, в принципе, становился равным каждому другому члену социума, а также свободным, имеющим прирожденное право самоуправления, т. е. суверенитета. Отсюда и народ в целом или нация коллективно определялись как суверенные. При этом суверенитет нации происходил непосредственно от суммы суверенитетов членов национального сообщества. Сформировавшийся здесь индивидуалистский гражданский национализм был унаследован американскими колониями и позже стал характерной чертой Соединенных Штатов.

Данный тип национализма хотя и был первым, представляет собой наиболее редкий его тип. Значительно чаще нация определяется не как сложносоставное целое, а как коллективный индивидуум, наделенный собственной волей и интересами, превосходящими по своему значению волю и интересы отдельных личностей — членов нации. Такой вариант, по Л. Гринфелд, может быть назван коллективистским. Он имеет тенденцию к авторитаризму

как результат фундаментального неравенства между узкой группой самоназначенных интерпретаторов воли нации и масс, которым лишь позволено воспринимать сформулированные элитой интерпретации. Коллективистский национализм во многом схож с популистской демократией и социализмом и представляет собой материал для идеологической базы современных тираний.

Впрочем, коллективистский национализм может быть гражданским, как, например во Франции. Это внутренне противоречивая форма, о чем свидетельствует история этой страны. Л. Гринфелд подчеркивает, что французский национализм был основан на антианглийских чувствах, а потому изначально может быть определен как антизападный. Чистый же тип антизападного (и следовательно восточного) национализма был впервые создан в России и почти одновременно в Германии. Позже он стал наиболее типичной формой национализма во всей Восточной Европе (с возможным исключением Чехии), а также и для части Западной Европы. Этот третий тип национализма сочетает коллективистское определение нации с этническими критериями национальности. «Этнический национализм, — подчеркивает Л. Гринфелд, — рассматривает национальность как генетически детерминированное, врожденное качество, абсолютно независимое от личной воли человека» [353, с. 15]. Свобода личности при таком типе национализма последовательно отвергается, или, скорее, переформулируется как иная форма свободы, как «осознанная необходимость». В свою очередь все это отрицает возможность личности быть рациональным существом и самостоятельным социальным актором. Индивидуальность в данном случае попросту приравнивается к человеческому *ьсгчс/ruy,* ш.фпжшош.сму *i:t:C>»* и самоотречении, погружении и растворении в коллективности.

Вслед за X. Коном Л. Гринфелд считает, что различия между коллективистским и индивидуалистским национализмом объясняются различиями в социальной структуре обществ. Восточный национализм не мог опираться на массовый средний класс. Он был адаптирован к интересам узкой группы традиционной элиты, стремящейся сохранить свой статус (например, русская аристократия). С момента своего распространения в XVIII в. национализм уже не был оригинально изобретенной идеей, а, скорее, заимствованием уже существующей концепции. Доминирование Англии в это время и доминирование Запада в целом превратили национальность в канон. Формирование национальной идентичности было преимущественно международным процессом, так как в

каждом конкретном случае начальный толчок исходил из-за пределов формирующейся нации. Вместе с тем каждый национализм представляет собой и автономное развитие. Принятие национальной идентичности в любом случае должно отвечать интересам групп, которые импортируют ее. Этому должен предшествовать кризис идентичности, а именно — разочарование в идентичности, которая была свойственна этой группе прежде. Оно может быть вызвано множеством причин, в том числе результатом восходящей или нисходящей мобильности группы в целом, изменением социальных ролей, не отвечающим ожиданиям отдельных личностей и т. д.

Каждое общество, импортирующее чужую идею, неизбежно фокусируется на источнике заимствования — объекте имитации по определению. Так как модель, как правило, воспринимается имитатором как нечто превосходное, реакция на нее неизбежно принимает форму рессентимента — гнетущего сознания тщетности попыток повысить чей-либо статус в жизни и в обществе. Рессентимент (термин, введенный Фридрихом Ницше и разработанный Максом Шелером) может быть также охарактеризован как результат подавления чувств экзистенциальной зависти и невозможности их удовлетворить [353, с. 16].

Аксиологизация национализма в работах Л. Гринфелд, равно как и X. Кона, выглядит достаточно парадоксальной, она была подвергнута основательной критике и, видимо, не заслуживает дополнительных комментариев [339, с. 50—69]. Вместе с тем идея заимствования модели нации, равно как и ее трансформация в различных социально-культурных средах, представляется чрезвычайно плодотворной, что и будет подтверждено ниже.

Общепризнанным лидером пост- или немодернисткого направления в области теории нации по праву считается английский социолог Энтони Смит, ныне наиболее авторитетный ученый в этой сфере знаний. Сам себя он считает скорее последователем «этно-символизма». В течение последних трех десятилетий им опубликован ряд фундаментальных работ, посвященных проблемам этничности, национализма и, особенно, теории нации, в том числе «Теории национализма» (1971), «Этническое возрождение» **(1981),** «Этнические истоки наций» (1986), «Национальная идентичность» **(1991).** Большинство его работ посвящено именно этническим началам национальных движений. В отличие от «модернистской» точки зрения Э. Смит считает, что характер каждой отдельной современной нации может быть объяснен исключи-

тельно только исходя из специфики донациональной народной этнической памяти, мифов и символов.

Центральное место в концепции Э. Смита занимает понятие об этнии — этнической общности доиндустриальной эпохи. Под этнией он понимает имеющую название группу людей с общими мифами происхождения и исторической памятью, связанной с исторической территорией и обладающей определенной степенью консолидированности, характерной хотя бы для элитарных слоев [387, с. **19].** Существует два основных типа этний. Во-первых, это латеральные (горизонтальные) аристократические этнии, которые занимают обширные территории, но слабо укоренены социально, и, во-вторых, вертикальные демотические, более компактные, представленные народными низами и часто объединенные чувством религиозной идентичности. Этнии первого типа создают современное национальное государство посредством инкорпорации в него низших социальных страт при помощи бюрократического аппарата. Вторые достигают того же в результате борьбы секулярной интеллигенции, сражающейся не только с враждебным государством, но и против религиозных оков этнических традиций.

Эти два базовых варианта этнического ядра определяют в конечном итоге характер формирующейся нации. Под нацией Э. Смит понимает население, имеющее собственное название, общие историческую территорию, мифы и историческую память, массовую, общественную культуру, общую экономику, общие юридические права и обязанности по отношению ко всем ее представителям [387, с. **19].**

Латеральные аристократические этнии имеют потенциальную возможность самосохранения за счет инкорпорации других слоев населения. Значительная часть их, однако, не смогли этого сделать и исчезли одновременно с упадком своих государств (как, например, микенцы или ассирийцы). Другие, изменив свой характер, превратились в персов, египтян и турок-осман, сохранив при этом сознание общего происхождения и элементы коллективной памяти **[385,** с. **147].**

Типичным для «бюрократической инкорпорации» согласно Э. Смиту является пример британского развития. Формирование нации он прослеживает, по крайней мере, от периода, предшествовавшего норманнскому завоеванию, т. е. примерно также как и А. Хастингс. Э. Смит подчеркивает, что к концу XIV в. британская нация еще не была полностью сформирована: было еще рано говорить об экономическом единстве, границы были нечетки,

массовое образование отсутствовало. Для полного развития этих и других элементов нации необходимо было ждать индустриальной революции и ее последствий. Однако этнические элементы нации были уже достаточно хорошо развиты. К концу XIV в. или чуть позже общие название и миф происхождения уже существовали, а вместе с ними и чувство привязанности к островному королевству. Основу унитарного государства составила норманнская латеральная этния, которой удалось инкорпорировать англосаксонское население. В то же время полноценная идеология английскости возникла на рубеже XVI—XVII вв., когда старый британский миф уступил место характерной для среднего класса саксонской мифологии древних свобод [385, с. 148, 149].

Подобные процессы были в целом характерны для национального развития Франции и Испании. Их военное и экономическое могущество в эпоху формирования наций неизбежно делало их образцами для всеобщего подражания. И это было неслучайно — это был результат раннего развития определенного типа рациональной бюрократической администрации, дополненной развитием торгового капитала, богатых городских центров и профессиональной армии. В итоге сформировался определенный тип компактной, унифицированной, стандартизированной и культурно гомогенизированной политической единицы, формат которой и представляет нацию.

Э. Смит подчеркивает, что хотя государство, несомненно, было необходимым условием формирования национальной принадлежности, преувеличивать его значение не следует. Главное — это существование системообразующего этнического сообщества, вокруг которого строилось государство.

В отличие от бюрократического варианта воздействие государства на процесс формирования наций на основе демотических вертикальных этний носило лишь опосредованный характер. Корпус культурных мифов, символов, ценностей в таких сообществах передавался из поколения в поколение на большой территории и в низших стратах социальной лестницы. Важнейшим механизмом существования и распространения традиций была организованная религия с ее священными текстами, литургией, обрядами и клиром. Наиболее типичным примером формирования наций на основе вертикальных этний являются процессы в Габсбургской, Оттоманской и Российской империях. По мнению Э. Смита их стремление следовать примеру западных «рациональных государств» повлекло за собой усиление давления на демотические этнии, что в свою очередь

вызвало распространение националистической идеологии с конца XVIII в. При этом светская интеллигенция, возглавляемая интеллектуалами-просветителями, стала движущей силой национальной трансформации. Именно она сформулировала общие цели и самоопределение, которые были не столько «открытием» и полномасштабным применением западных моделей, сколько процессом открытия собственного этнического прошлого. Это означало моральную политическую революцию. Вместо пассивного и подчиненного меньшинства, живущего на периферии доминантного этнического сообщества, должна была быть создана новая компактная политически активная нация. Отныне ведущие позиции должны были быть заняты личностями, идентифицируемыми с «массами», а не аристократическими героями прошлого. Это было частью процесса создания унифицированного, желательно, автаркического сообщества юридически равных членов или граждан — основы легитимности новой государственной власти. Естественно для того, чтобы это произошло, люди должны «отряхнуть с себя пыль веков порабощения», свою летаргию, разобщенность, чужеродные элементы, безразличие и, в конечном итоге, освободить себя.

Э. Смит подчеркивает, что переход от демотической этний к гражданской нации включает в себя несколько взаимосвязанных процессов.

1. Переход от угнетенности и пассивности, свойственной пери ферийному меньшинству, к состоянию активного, целеус тремленного политизированного сообщества, проводящего единую политическую линию.
2. Переход к существованию на общепризнанной «Родине» — компактной, четко очерченной территории.
3. Экономическую консолидацию всех членов территориально обозначенного сообщества, стремление к экономической ав таркии в мире соперничающих наций.
4. Превращение членов этнического сообщества в граждан пу тем их политической мобилизации и предоставления каж дому общих гражданских, социальных и политических прав и обязанностей.
5. Помещение народа в центр морального и политического внимания и заботы и чествование новой роли народных масс, путем перевоспитания их в духе национальных цен ностей, мифов и истории **[385, с. 153, 154].**

Положение о двух типах этнических общностей в домодерную эпоху представляется наиболее продуктивным моментом концеп-

ции Э. Смита, к сожалению еще не использованным для анализа средневековой этнической истории Беларуси и Центрально-Восточной Европы. Что же касается «демотического» варианта формирования наций, то его сценарий у Э. Смита едва ли существенно отличается от предложенного Э. Геллнером или М. Грохом.

Обзор современных теорий наций и национализма был бы не полон без упоминания исследования тендерных аспектов этих явлений. Значительных прорывов в этом направлении еще не произошло, однако следует упомянуть в качестве примера статью известного британского социолога Сильвии Уолби «Женщина и нация» [400]. Среди многочисленных ее аспектов наиболее интересный — это формы участия женщин в реализации национальных проектов. Автор подчеркивает, что это участие существенно отлично от мужского. Она, вслед за Нирой Ювал-Девис и Флоей Антиас, выделяет пять основных функций женщины в этнических и национальных процессах. А именно, она:

• обеспечивает биологическое воспроизводство членов этнических сообществ;

• воспроизводит тем самым границы этнических/национальных групп;

• является центральным звеном идеологического воспроизводства групповой коллективности, будучи транслятором ее культуры;

• выражает этнические/национальные различия, будучи фокусом и символом идеологического дискурса конструирования, воспроизводства и трансформации этнических/национальных категорий;

• участвует непосредственно в национальной, экономической, политической и вооруженной борьбе [400, с. 236, 237].

Оставляя в стороне перспективу обсуждения этих положений, часть из которых бесспорна, остальные — нет, отмечу, что некоторые из них (о центральном звене идеологического воспроизводства) подтверждаются эмпирическими данными нашего исследования.

В целом же, подводя итог обзора (впрочем далеко не полного) современных теорий нации и национализма, хотелось бы отметить, что при всем разнообразии, взаимной агрессивности, принципиальные противоречия между ними преувеличены. А поэтому вполне реально представление интегративного теоретического подхода, основанного в том числе и на собственных выводах автора.

Нации и национализм как массовые явления — безусловно результат капиталистической модернизации конца XVIII—XX вв. Это не исключает появления внешне изоморфных феноменов в более ранние периоды истории. В любом случае они связаны с переходом от натурального к рыночному (не обязательно индустриальному) хозяйству, по крайней мере, значительной части этнической группы, сопровождающимся распространением «высокой» культуры и основанного на ней образования за пределы привилегий узкого слоя социальной элиты. В связи с этим можно говорить о существовании и «античных» наций, с устойчивой и четко выраженной идентичностью, и, что более важно, проследить истоки формирования современных наций с эпохи Возрождения или даже ранее.

Феномен формирования нации может быть интерпретирован как самодостаточный объект-процесс. Исследование подобных явлений предусматривает прежде всего раскрытие их структуры — совокупности устойчивых связей, обеспечивающих целостность и стабильность системы. Она, в свою очередь, достигается за счет воспроизводства одних и тех же взаимодействий. Механизм этого воспроизводства является жизненно необходимой структурой, ядром органической системы.

У национальных общностей функции механизма воспроизводства выполняет адекватная уровню стадиального развития общества система трансляции этнокультурной информации, которая обеспечивает социализацию (образование, воспитание и т. д.) и, в том числе, национальную идентификацию личности. Принципиальное отличие от донациональных общностей состоит в том, что формирование идентичности происходит не только и не столько в первичных социальных коллективах (семье и общине), а главным образом в рамках институтов, действующих в масштабах всего социума. Совокупность этих институтов (народного образования, средств массовой информации, светской художественной культуры) образует национальный коммуникативный механизм, функционирующий на основе унифицированной формы трансляции информации — научно обработанной и кодифицированной в литературной форме.

Национальный коммуникативный механизм полифункционален. В собственно этническом аспекте наиболее существенным является его свойство формировать и репродуцировать национальное самосознание. Оно выступает как внешнее проявление, выражение сущности механизма связей, обусловливающих само су-

ществование наций. Национальное самосознание является именно тем интегративным свойством, благодаря которому «этническая совокупность» (по Р. Радзику) превращается в целостную систему — нацию.

Будучи производным осознания территориального единства и этнолингвистического подобия, национальное самосознание оказывает исключительное воздействие на поведение людей: ориентирует на потребление преимущественно культуры той системы, в рамках которой проходила их социализация. Таким образом, следствие (национальное самосознание как следствие национальной системы трансляции этнокультурной информации) выступает в качестве причины собственной причины (национального коммуникативного механизма), благодаря чему возникает цикл, замкнутая связь, способная к саморазвитию и обогащению из самой себя. Именно она и обеспечивает системность и самодостаточность нации — способность поддерживать себетождественность в пространстве и времени.

Формирование нации есть процесс целенаправленной социальной инженерии, естественным образом лимитированной готовностью общества к ее восприятию. Национальный проект как идеальная модель едва ли может считаться изобретением исключительно англосаксонской традиции, однако в каждом конкретном случае эта идея скорее была заимствованной, чем вновь созданной.

Существуют два базовых варианта формирования наций: на базе сложившегося государства и на базе этнической общности. Второй вариант типичен для большей части народов Центрально-Восточной Европы. Для него особенно характерна многоступенчатость трансформации, включающая промежуточное состояние (национальность, «этнографическая фаза», фазы «А», «Б», «В»)-

Скорость развития каждого конкретного процесса формирования нации зависит от ряда факторов, включая модернизационную готовность, наличие социального конфликта, пригодного для артикуляции в этнонациональной форме, а также — социальной группы, способной это сделать, конфигурации «примордиальных» отношений и т. д. На определенных этапах формирование идентичности может осуществляться не национальными лидерами, а силами, не заинтересованными в конечной победе национального движения, например колониальными администрациями.

ГЛАВ А 3
ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ И ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩНОСТЕЙ В ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ (1810-е — начало 1860-х гг.)

К вопросу об этническом самосознании М. Бобровского и И. Даниловича

Среди нерешенных проблем историографии этнической истории Беларуси особое место занимает вопрос о времени зарождения белорусского национального движения. В польской, немецкой и американской историографии его относят к началу XX в., в белорусской же — к 1810-м гг. и связывают с деятельностью группы во главе с профессорами Виленского университета Михаилом Бобровским и Игнатием Даниловичем. Существует устойчивая традиция, предписывающая им роль аачинателей белорусского национального возрождения. Достаточно напомнить работы А. Цвикевича [243], В. Талочки [219], А. Станкевича [389], Б. Бялокозовича {333], О. Латышонка [87], В. Шведа [306], а также ранние публикации автора [222, 344]. Следует отметить, что, например, А. Станкевич считал, что у М. Бобровского национального самосознания еще не было, «однако он был к нему достаточно близок» [389, с. 45]. Б. Бялокозович отмечал, что М. Бобровский и И. Данилович «не имели еще четко обозначенного национального самосознания и идентичности», что это был период «неосознанного» национального возрождения» [333, с. 56, 63]. Комплексный анализ биографических сведений, свидетельств современников, а также малоизвестного эпистолярного наследия М. Бобровского позволяет значительно уточнить этот вопрос.

В пользу отождествления М. Бобровского и И. Даниловича с первым поколением «будителей» свидетельствуют два следующих фрагмента. Павел Бобровский, племянник М. Бобровского, в

своей монографии по истории униатской церкви в Беларуси отметил, что «...после Венского конгресса в западных губерниях обра зовалась малоизвестная партия, имевшая во главе некоторых профессоров Виленского университета, которые охотнее хотели бы восстановления Великого княжества Литовского, нежели соединения Литвы и Волыни с прежней короной; эта незначительная по числу своих членов русско-литовская партия мечтала о возрождении белорусского языка, на котором был издан первоначально Литовский статут, остававшийся еще в силе» [20, с. 204, 205]. Необходимо подчеркнуть, что слово «партия» у П. Бобровского не имеет современного политического смысла и означает только группу единомышленников. Нет сомнений, что под «некоторыми профессорами» понимаются именно М. Бобровский и И. Данилович. В целом эти сведения вполне вызывают доверие, так как П. Бобровский мог их получить непосредственно у М. Бобровского, своего родственника и воспитателя, в доме которого прошла часть его детства [19, с. 40].

Более того, тезис П. Бобровского подтверждает его известный оппонент Йозеф Белиньский, автор трехтомного описания истории Виленского университета. В частности он отмечал, что «после войн Наполеона, когда в разных странах начала пробуждаться идея национальности, в Вильно группа молодежи, главным образом сыновей униатских священников, в поиске сведений о своей национальности и религии начали собирать и читать старые пергаменты. ... Во главе этой группы стали Михаил Бобровский, Игнатий Данилович, Антоний Марциновский [334. Т. 2, с. 386]. Именно последний, по мнению Й. Белиньского, «разбудил это движение и передал его дальнейшее развитие в умелые руки Даниловича и Бобровского» [334. Т. 3, с. 442]. Молодежь эта владела «в определенной степени языком старославянским, в определенной степени языком белорусским...» [334. Т. 3, с. 155].

К этому можно добавить и несколько специфическую трактовку М. Кояловича, который описывал появление в Западной России «небольшой партии польских людей, которые приходили к осознанию того, что они не поляки, а тем более не польский народ их страны. Они задумали восстановить (в науке) самостоятельность западной России. Основали они ее на следующих началах. Они взяли старую идею политической независимости Литвы и полагали, что Западная Россия может выработать эту самостоятельность при польской цивилизации, но свободно, естественно, без всякого насильственного подавления местных народных особен-

ностей. Такая теория высказывалась, довольно значительно, в трудах Даниловича, в истории Литвы Нарбута и в сочинении Ярошевича "Картина Литвы"» [81, с. 16, 17].

В свете приведенных данных представляется достаточно очевидным, что речь идет действительно о зарождении национального движения. Необходимо отметить, что М. Бобровский и И. Данилович родились и выросли в семьях униатских священников на Белосточчине — территории белорусско-польского пограничья. Хорошо известно, что у населения пограничных регионов, даже в условиях традиционного общества, самосознание выражено более четко, чем в глубине этнического массива. Пробуждению национального сознания содействовала и социальная ситуация. Напомним, что М. Грох считает условием успешного развития национального движения «принципиальное наличие вертикальной социальной мобильности, как минимум для некоторого числа представителей недоминантной группы (такая возможность была обеспечена самим существованием Виленского университета. — *П. Т.),* а также конфликта между выходцами из среды недоминантной группы, с одной стороны, и замкнутого, наподобие касты слоя элиты, которая сохраняла наследственный контроль над наиболее важными позициями в государстве, с другой» [359, с. 86, 87]. Не вызывает сомнения и возможность формулирования политической программы восстановления Великого княжества Литовского. Известно, что такие проекты разрабатывались накануне войны 1812 г. [49, с. 91—96]. Крупной заслугой М. Бобровского стала публикация Супрасльской летописи. Собиранием и публикацией исторических и юридических документов по истории Беларуси XVI—XVIII вв. занимался И. Данилович.

Вместе с тем существуют материалы, которые явно противоречат всем предшествующим рассуждениям. Известно, что большая часть трудов М. Бобровского так и не была напечатана. Анализ же того, что увидело свет, плохо сочетается с представлением о нем как о белорусском «будителе». Мы остановимся на комментариях М. Бобровского к опубликованной им же статье хорватского священника М. Совича «Рассуждения о неспособности славянского литературного языка в Далмации». Пафос работы М. Совича заключался в том, что старославянский язык достаточно понятен подавляющему большинству носителей славянских диалектов, а создание новых литературных языков, например, далматинского или иллирийского, дело бесперспективное. «Где же найдутся две округи, не говоря уже о протяженных провинциях Иллирии, или

самой Далмации, в которых был бы одинаковый гражданский диалект», ... «можно ли найти хотя бы двух писателей далматинских, которые достигли бы между собою согласия в орфографии и словах» [396, с. 213]. В своих комментариях М. Бобровский продолжил тему М. Совича рассуждениями о причинах упадка старославянского языка на Литве. «Когда в Литве в дела дипломатические и Трибуналов был введен диалект белорусский, когда Скарына перевел на тот же диалект Святое Писание, когда Корона, получив верховенство над Литвой польским языком господствовать начала, когда для разожженного соперничества между религиозными исповеданиями начато было уже и на белорусском, уже и малорусском диалекте и червоннорусском, с примесью польского, писание книг полемичных, проповедей, катехизисов и других произведений духовных ...как же мог не измениться древний язык» [396, с. 406]. В своем стремлении к возрождению старославянского языка М. Бобровский предлагал даже польский язык перевести на кириллический алфавит, так как «не все, однако, определения звуков соответствуют звучанию польского языка» [396, с. 301]. Вообще М. Бобровскому представлялось, что «введение в школы и семинарии этого первоначального языка без сомнения воскресит сам язык» [396, с. 404]. Он также предлагал составить общий сравнительный словарь всех славянских диалектов, который должен иметь в основе древний язык славянский, как мать этих диалектов» [396, с. 406].

Примерно в это же время, в 1827—1829 гг. в письмах к Й. Лелевелю М. Бобровский делает несколько саркастических замечаний по отношению этнической идентичности И. Даниловича. Так, в письме от 11.07.1827 г. он пишет о встрече «с подлесянином (так он часто называл И. Даниловича в своих письмах), который, как видно, полностью схохлился или также оказачел». В этом же письме М. Бобровский сообщает, что не злится на И. Даниловича, хоть последний и «происходит из национальности хохлацкой» [239, с. LXXXLIV—LXXXLV]. В следующем письме от 20.11.1828 г. он пишет, что «падлесяк между казаками целиком оказачел. Хорошо было бы, если бы он женился, но не на казачке» [239, с. LXXXVII]. А в письме, написанном в ноябре 1829 г., он выражал надежды на некоторые обстоятельства, которые помогут «перетащить Игната со столицы хохлов до столицы Ягеллонов» [239, с. LXXXVII].

Естественно, возникает вопрос: каким образом все это сочетается с представлением о М. Бобровском и И. Даниловиче как о зачинателях белорусского национального возрождения. Сознание, в том числе и этническое, любого человека подвержено изменениям. Особенно это характерно для периода становления национальной идентичности. М. Бобровский, например, в письмах к Й. Добровскому, Й. Циммерману и Й. Лелевелю чаще всего (в четырех случаях) обозначал себя как «русин» («Ruthenus») и один раз как «поляк» («Polonus»). Характерно, что название «русин» употреблялось им как однопорядковое «мазуру» (так он шутливо называл Й. Лелевеля и «падлесянину» [239, с. XLVIII, LXXXVI, XCVII]. Добавим к тому точку зрения П. Бобровского о том, что его дядя «принадлежал к древнему роду чернорусских славян» [19, с. 12].

Причины изменения идентичности И. Даниловича достаточно прозрачны. Переезд на Украину и знакомство с кругом так называемых харьковских романтиков-украинофилов не мог не повлиять на него. Тем более, что определенные этнические основания для этого были. Как отмечает О. Латышонок, и И. Данилович и М. Бобровский родились на территории распространения так называемого «подляшского» диалекта, который достаточно существенно отличался от белорусского языка [87, с. 12]. Однако несмотря на общие этнические корни «украинизация» И. Даниловича вызвала негативную реакцию М. Бобровского.

Что же касается последнего, то на его мировоззрение большое значение оказало пятилетнее путешествие по Центральной, Южной и Западной Европе. Многие исследователи обращали внимание на его контакты с чешскими «будителями» Й. Добровским и В. Ганкой. Анализ писем М. Бобровского свидетельствует, что именно с первым у него установились наилучшие отношения. При этом необходимо отметить, что хотя Й. Добровский и оказал огромное влияние на становление чешского национального возрождения, сам он относился к нему не только пессимистично, но даже негативно. Чешская история для него была не более чем объектом научного исследования. Вероятно, именно он так сильно повлиял на смену взглядов М. Бобровского.

Подчеркнем, что подобные изменения не являются чем-то необычайным для начальных периодов развития национальных движений. Достаточно вспомнить судьбу членов так называемой «Русской троицы» — издателей одного из первых украинских литературных альманахов «Русалк1 Дн1сггрово1» (1837 г.). Один из них И. Вагилевич в последствии присоединился к польскому галицийскому движению (как «Ruthenus-Polonus»), а Я. Головац-

кий переселился в Россию, возглавил Виленскую археографическую комиссию и превратился в апологета западно-русизма [16, с. 98]. Достаточно типичным было отсутствие уверенности в перспективах своей этнической группы. Так, один из основателей собирания эстонского фольклора и издания эстонской дидактичной литературы Ф. Фельман считал, что самостоятельная эстонская нация едва ли имеет шансы быть созданной [380, с. 294]. М. Грох вообще считает, что подобные воззрения характерны для начальной (так называемая стадия «А») стадии формирования нации, когда деятельность активистов движения ориентирована на изучение и популяризацию знаний о лингвистических, культурных, социальных и, отчасти, исторических атрибутах недоминантной группы [358, с. 81].

Таким образом эволюция этнических взглядов М. Бобровского и И. Даниловича представляется следующей: в 1815 (а, возможно, и ранее) — 1817 гг. они действительно выступают как лидеры белорусского возрожденческого движения. В 1817—1822 гг. М. Бобровский постепенно переходит на позиции общеславянского религиозно-культурного возрождения, позднее — эволюционировал в сторону прото-западно-русизма, о чем свидетельствуют его надежды использовать российскую власть для укрепления позиций униатской церкви, а также негативное отношение к восстанию 1830—1831 гг. [87, с. 13]. У И. Даниловича после переезда в Украину «пробудилась» украинская идентичность, вместе с тем он, судя по всему, продолжал связывать себя историческим наследием Великого княжества Литовского.

Социальное значение и масштаб деятельности группы М. Бобровского и И. Даниловича собственно для Беларуси недостаточно ясны. По замечанию П. Бобровского можно судить, что активность этой группы не ограничивалась только стенами Виленского университета, однако никаких конкретных сведений он не сообщает. В письме Й. Лелевелю от 25.02.1825 г. М. Бобровский упоминает кроме И. Даниловича еще 14 человек, высланных из Вильно, но это еще не свидетельствует об их связи с группой [239, с. LXXIX]. Хотя Й. Белиньский считал, что А. Марциновский «разбудил это движение» в издававшемся им журнале «Dziennik Wilenski», едва ли было опубликовано что-нибудь, за исключением статьи М. Чарновской, артикулирующее белорусскую этничность [342]. Показательно, что одним из наиболее известных учеников М. Бобровского и И. Даниловича был основатель литовской национальной историографии Шимонас Даукантас. Найти также

национально ориентированную личность среди белорусских историков в то время было сложно. Не менее проблематично обнаружить связь группы с последующим развитием акцентировано белорусской историографии, этнографии, фольклористики, литературы, а тем более и с национальным движением. Существующее предположение об опосредованном влиянии М. Бобровского и И. Даниловича на Я. Чечота и его увлечение белорусским фольклором вполне вероятно, однако не подтверждается конкретными данными. С точки зрения Н. Хаустовича, М. Бобровский не имел непосредственного отношения к изданию Катехизиса 1835 г. [240, с. 148]. Таким образом, деятельность группы М. Бобровского и И. Даниловича, представляя собой в 10-х гг. XIX в. начальный этап национального возрождения, позднее объективно содействовала развитию «краевой» идеологии и, в меньшей степени, литовского национального движения.

Артикуляция белорусской этничности в 1830-1850-х гг.

На наш взгляд нет смысла подробно останавливаться на анализе различных проявлений артикуляции белорусской этничности, языка и исторического прошлого в творчестве или публикациях Я. Чечота, Я. Борщевского, А. Рыпинского, В. Сырокомли, А. Абрамовича, В. Дунина-Марцинкевича, П. Шпилевского, И. Григоровича, так как это уже многократно делалось [85], в том числе и достаточно критически [397, 379]. Вместе с тем хотелось бы отметить ряд принципиальных моментов.

Во-первых, едва ли есть основания квалифицировать все эти феномены как проявления движения, т. е. более-менее организованной и политически направленной активности даже в 1850-х гг. В одном из своих писем к М. Драгоманову, В. Савич-Заблоцкий, пытаясь дать целостную картину этого явления, сообщал, что еще до 1860—1863 гг. «до десятков пяти экономов, попов, панских гувернеров, ксендзов», т. е. «малопоместных» ... с «простым народом побратались, да и его языком писать и говорить могли» ... Они мысли никакой другой, цели никакой кроме благотворительности своей к этому народу не имели — ни политической, ни социальной цели, и через это-то себе его веру и сердце завоевали» [190, с. 315, 316]. Различные формы литературно-художествен-

ной жизни носили либо характер городских салонов (кружки А. Киркора в Вильне, В. Дунина-Марцинкевича в Минске, А. Вериги-Даревского в Витебске), либо землячеств (Я. Борщевского в Санкт-Петербурге), но не этнокультурных объединений. Произведения на белорусском языке у большей части представителей «белорусской школы» появлялись эпизодически. Это в равной степени касается и всех других форм акцентации белорусской этничности, а также и самих авторов. Всему этому явно не хватало преемственности. Характерно, что Я. Чечот, считавший Катехизис 1835 г. «единственным, что есть у многомиллионного белорусского народа», признавался, что ни разу его даже не видел [251, л. 9 об., 10]. Литература на белорусском языке адресовалась, нередко, узкому кругу читателей. Так, например, известные анонимные поэмы «Энеида навыворот» и «Тарас на Парнасе » были рассчитаны на восприятие той незначительной части населения, которая не только была грамотной, но и разбиралась в тонкостях античной мифологии, а также была в курсе борьбы идейно-литературных направлений того времени — классицизма и романтизма. Только обладая всеми этими знаниями, можно было до конца понять острый травестийный смысл анонимных поэм. Остается открытым вопрос и о побудительных импульсах обращения к артикуляции белорусскости. Хорошо известны контакты Я. Борщевского с Т. Шевченко. По мнению Н. Вакара именно они побудили Я. Борщевского к собиранию белорусского фольклора [397, с. 76].

Во-вторых, при всем значении католической и шляхетской по происхождению интеллигенции абсолютно не правомочно сводить артикуляцию белорусской этничности исключительно к ее активности. Это, в частности, уже отмечалось С. Кузняевой на примере с П. Шпилевским [85, с. 62]. Не случайно и В. Са-вич-Заблоцкий среди любителей белорусского языка упомянул и ксендзов и попов. Необходимо отметить, что в сфере фольклористики и языкознания деятельность православных была не менее (если не более) результативной, если вспомнить представителя поколения М. Бобровского и И. Даниловича — И. Носовича и его публикацию, по существу первую, словаря белорусского языка. К этому можно добавить и усилия выходцев из крестьянского сословия, например вольноотпущенника Н. Анимелле, пожалуй, самого усердного из авторов «Быта белорусских крестьян» (1854).

В-третьих, самосознание создателей белорусскоязычных произведений было лишено четкой национальной направленности.

Это касается даже тех, кто позднее рассматривался в качестве первопроходцев. Так, например Я. Чечот не отождествлял себя с белорусами, считая, что «самостоятельная обработка этого наречия без помощи посторонней подлежит сомнению» [251, л. 10 об.]. То же касается и В. Дунина-Марцинкевича, для него Беларусь не была самостоятельной в национальном отношении, представлялась территориально-этнографической, а не национальной целостностью. Шляхетское происхождение практически всех («примордиальный» аспект социальной структуры), за исключением В. Коротынского, литераторов в условиях консервации иерархичной социально-этнической структуры общественных отношений делало психологически чрезвычайно сложно преодолимой, в буквальном смысле слова, пропасть между собой и крестьянством.

Однако, в-четвертых, объективно эта активность служила доказательством потенциальной возможности и способности этноса встать на путь национального развития. Об этом свидетельствовало и распространение самодеятельного литературного творчества среди социальных низов многочисленных «гутарок», возникавших на стыке фольклора и профессиональной литературы. Близко к ним по содержанию стоит единственное известное стихотворение П. Багрыма. Уступая «шляхетской» литературе по художественному уровню, «гутарки» значительно превосходили их по социальной направленности содержания. В них критически осмысливались наиболее злободневные проблемы крестьянской жизни — социальное неравенство, усиление крепостнической эксплуатации, разрушение традиционных устоев жизни под воздействием развития рыночных отношений и т. д. Само их появление свидетельствовало о наличии определенных социальных ожиданий в среде крестьянства.

В целом же развитие белорусски артикулированных литературы, фольклористики, историографии в первой половине XIX в. едва ли было способно сколько-нибудь значительно повлиять на этническое сознание на массовом уровне. Относительная слабость проявлений артикуляции этничности в Беларуси в этот период не является чем-то исключительным. Оно было достаточно типичным для того времени и обусловлено в первую очередь чисто стадиальными причинами. Так, Маати Клинге отмечает, что относительно слабое развитие финноязычной культуры в первой половине XIX в. было связано не с какими-либо притеснениями, а с отсутствием интеллектуального потенциала: «в целом образованных людей было довольно мало и поэтому потребовалось много времени, прежде чем они смогли создать что-либо, имеющее постоянную ценность» [73, с. 78].

Белорусская этничность и политика российской администрации на рубеже 1830—1840-х гг.

В этой ситуации куда большее значение для этнической истории имело изменение политической ситуации. Нам хотелось бы сконцентрировать внимание на событиях 1839—1840 гг., имевших принципиальное значение для всего исследуемого периода. К ним относится ликвидация униатской церкви, упразднение Статута Великого княжества Литовского и запрет официального использования терминов Белоруссия и Литва. Необходимо отметить, что процесс перехода части униатов в православие начался задолго до Полоцкого собора 1839 г. Уже в 1800 г., например, в Минской губернии униаты составляли 40,2 % христианского населения, православные — 33,9 %, католики — 25,8 % [55, с. 41]. Более того, оно имело четко выраженные региональные особенности. На северо-западе перевод в православие действительно осуществлялся принудительными мерами. В Центральном Полесье переход униатов в православие начался сразу же после присоединения к Российской империи. Так, например, на территории Пинского, Мозырского и Речицкого уездов только на протяжении второй половины 1796 г. в православие перешло 12 тыс. униатов [111, л. 23]. А в 1835 г. из 1720 священников на территории этого региона православные составляли 65,7 %, католики — 2,1 %, униаты — 32,2 % [112, л. 26—30]. Такая ситуация была характерна и для Восточной Беларуси, где к моменту раздела Речи Посполитой сохранялась православная епархия, а униатская церковь была относительно новым, не закрепившимся в традиции явлением. Ликвидация униатства в целом, вне всякого сомнения, осложнила процесс формирования белорусской национальной идентичности. Однако, на наш взгляд, не следует и преувеличивать значение этого фактора и придавать ему фатальный характер, о чем будет сказано ниже.

Если ликвидация униатства выглядит достаточно логичным, закономерным с точки зрения российской администрации шагом, результатом реализации последовательного и длительного проекта, то мотивы двух других мероприятий 1840 г. до сих пор представляются не совсем ясными. Напомним, что на протяжении 1830-х гг. специальной правительственной комиссией велась

работа по подготовке переиздания свода законов Западных губерний. Однако когда работа была завершена и представлена на утверждение, было отдано распоряжение упразднить действие Статута и ввести вместо него Русское законодательство. Такой шаг специальный комитет по делам Западных губерний обосновывал стремлением «удаления в жителях Северо-Западного края всякой мысли о самостоятельности действующего у них законодательства, могущего служить какою-либо преградой к слиянию их с коренной Россией» [178, л. 136 об., 137]. Практически одновременно, 18 июля 1840 г., Николай I лично запретил употреблять термины Белоруссия и Литва. Очевидно, что последнее решение было достаточно спонтанным, о чем свидетельствует история появления этого запрета. Известно, что на подпись Николаю I был представлен документ рутинного содержания, упоминавший Белоруссию и Литву. На полях его появилось замечание: «Впредь этих названий никогда не употреблять, а прописывать губернии поименно» [177]. Именно в таком виде документ был растиражирован и разослан в качестве нормативного в губернские правления. Так как «прописывать названия» шести губерний было несколько неудобно, начиная с 1842 г. закрепляется казенный термин «Северо-Западный край России». Впрочем, по мнению О. Латышонка сам термин появился значительно раньше — еще в конце XVIII в., а именно в работе католического епископа Беларуси С. Богуш-Сестранцевича «О России западной», напечатанной в 1793 г. в Могилеве [367, с. 36]. Позднее он приобрел идеологический смысл в рамках концепции «западно-русизма». Эти события не сложно интерпретировать в качестве отправного момента политики русификации, тем более, что именно так, как стремление «стереть с лица земли целую народность» они и воспринимались, например, белорусскими народниками [164, с. 61]. Причем речь идет не об административной, а именно культурно-национальной русификации. Характерно в этом отношении опубликование в 1839 г. уникального, на наш взгляд, издания «Опытов в русской словесности воспитанников гимназий Белорусского учебного округа», фактически сборника школьных сочинений (в том числе и А. Киркора). Идеологический смысл солидно оформленной публикации более чем очевиден — продемонстрировать успехи в деполонизации учебных заведений. Однако к этому необходимо добавить еще более существенный момент — в сборнике были опубликованы, якобы собранные гимназистами, народные песни «Из под Слуцка, из под Клецка» и «Ох, колы б, колы, москали б

прышлы», призванные засвидетельствовать историческое стремление простого народа к соединению с Россией. И хотя псевдофольклорный характер этих сочинений был очевиден (что позже было отмечено Н. Янчуком), это не помешало их распространению в среде православных священников и чиновников во второй половине XIX в. [323, с. 4].

Вместе с тем не совсем понятно, почему все эти мероприятия, особенно запрет употреблять название Беларусь, были проведены именно в 1839—1840 гг. Едва ли на российскую администрацию могли сильно повлиять публикации белорусского Катехизиса и первого тома фольклорного сборника Я. Чечота. Куда вероятней предположить, что это была реакция на раскрытие конспиративной сети Шимона Конарского. В данном случае имела значение и сама подготовка восстания, и его участие в прошлом в деятельности Молодой Польши — одной из составных частей националистического «интернационала» Дж. Мадзини. Не исключено, что свою роль в упразднении Статута Великого княжества Литовского сыграло то, что в его переиздании принимал участие И. Данилович, поддерживавший связи с Й. Лелевелем (результатом чего стала публикация Статута 1529 г. в 1841 г. в Познани). В заключение рассмотрения этих сюжетов необходимо подчеркнуть, что запрет названия Белоруссия носил достаточно формальный и временный характер. Уже в 50-х — начале 60-х гг. он свободно употреблялся даже в официальной периодике.

Актуализация белорусского вопроса на рубеже 1850—1860-х гг.

В период политического кризиса на рубеже 1850—1860-х гг. общественный интерес к белорусам как к потенциальному социальному и политическому ресурсу значительно обострился. Он отмечался как в поведении российской администрации, так и оппозиционного ей польского движения.

Активность российской администрации и проправительственных кругов в этом отношении достаточно хорошо проанализирована в работах А. Цвикевича и С. Александровича [243, с. 40—142; 2, с. 12—18]. Нам хотелось бы акцентировать внимание на одном положении, имеющем принципиальное значение для этнической

истории Беларуси второй половины XIX — начала XX в. Оно было опубликовано в 1863 г. в «Вестнике Юго-Западной и Западной России» в следующей формулировке: «К ней (т. е. Беларуси. — *П. Т.)* обыкновенно относят только Могилевскую и Витебскую губернии, а всему остальному дают название Литвы, ... в Минской же губернии, Виленской и Гродненской — простой народ — белорусы. Поэтому и слово Литва должно даваться не всему Западному краю, а только той его местности, где действительно сплошная масса литовского населения» [27, с. 76]. Трудно сказать, было ли это пожелание автора публикации или таким образом демонстрировались намерения администрации, однако несомненно, что после 1860-х гг. термины «литвины», «литовцы» по отношению к белорусам исчезают из официальных документов, статистики и т. д.

Что касается активности польского движения, также детально изученного, то особое внимание привлекает ток пазывпемая «хлопомания», т. е. подчеркнутый интерес представителей социальной элиты к белорусскому языку и культуре. В Украине в результате развития подобного движения появилась личность И. Антоновича, учителя М. Грушевского. «Хлопомания» в Беларуси изучена недостаточно. Представление о ней дают свидетельства М. Кояловича и В. Савич-Заблоцкого. Так, М. Коялович писал, что в начале 1860-х гг. «...ввиду успехов крестьянского дела ... народ белорусский обратил на себя внимание польской партии, ... она стала понимать, что народ составляет силу, с которой надо сближаться. Потом вельможные паны стали чаще показываться в кругу крестьян и ласково беседовать с ними на их родном белорусском наречии; в этих беседах более всего старались они внушить мысль, что без панов не будет житья; оделись сами и нарядили своих жен и дочерей в толстое серое сукно домашнего изготовления и в этой народной одежде поехали к мировым посредникам предъявлять свои требования. Между тем появились на белорусском наречии и даже пелись в некоторых костелах так называемые патриотические гимны, переведенные с польского или вновь специально сочиненные для крестьян; в придачу к этим гимнам были стихотворения, также на местном наречии, в которых осмеивалась дарованная крестьянам воля; изображалась ненависть к постоянным врагам их — маскалям» [81, с. 387]. В периодической печати появлялись статьи, адресованные крестьянам. Их авторы-помещики подписывались псевдонимами типа «крестьянин такой-то» или

«крестьянин откуда-то». Как отмечалось в прессе, «настоящие литовские вельможи, одеваются в платье самого грубого деревенского сукна... называют себя мужиками» [101, с. 533, 534]. К числу проявлений «хлопомании» можно отнести увлечение сбором этнографических материалов князем К. Радзивиллом. Тетрадь с его записями, собранными в Новогрудском уезде, хранится в Архиве русского географического общества. Интересно, что, по мнению К. Радзивилла, «у крестьян употребляется древних кривичан язык», который он характеризует как «посредующее между польским, русским и украинским языками» [10, л. 1]. Другим свидетельством «хлопомании», судя по всему, был появившийся в 1862 г. «Букварь для добрых деток-католиков», по содержанию скорее катехизис, организация издания которого нередко предписывается А. Аскерко [например, в соответствующей статье в первом томе «Энцыклапедып ricTopbii БеларусЪ>]. Характерно, что содержание предисловия «Букваря ...», представляющее идилличную картину социальных отношений в белорусской деревне («паны вам злого не желают») и ориентирующее читателей-крестьян «жить в согласии (с помещиками), как добрым соседям», во многом подтверждает достоверность информации М. Кояловича [2, с. 19].

Впрочем, М. Коялович отмечал в «хлопомании» не только элементы социальной демагогии. Описывая «образ мыслей лучших людей, представителей польской партии», он подчеркивал, что «по их понятиям белорусскому народу угрожает ... опасность ... несправедливых домогательств на преобладание русской нации. Они утверждают, что белорусы никогда не были, да и не хотят быть русскими, и в то же время они отвергают намерение ополячить белорусов. По их словам, *история выработала для белорусов особую национальность* (курсив наш. — *П. Т.)* и возвратила ту самую веру, которая существовала до разделения церквей. Поляки должны заботиться не только о себе, но судьбы их неразрывно связаны с судьбами народов, соединенных в братском союзе ... каждый из этих народов обладает всеми условиями для самостоятельного развития и имеет на то полное право, к несчастью не вошедшее еще в сознание народных масс» [81, с. 388].

На наш взгляд, в свете этих сведений следует рассматривать взгляды К. Калиновского. Дело в том, что в отличие от отечественной белорусской историографии, в зарубежной, в том числе в германской, американской и польской, существует достаточно

скептическое отношение к нему как выразителю белорусской национальной идеологии [например 347, 379, 397]. Н. Вакар, например, отмечал, что политические идеи К. Калиновского «в целом лишь в малой степени соответствуют мифу, созданному вокруг его имени» [397, с. 72] А Р. Радзик на основе детального анализа текстов, написанных К. Калиновским, приходит к выводу, что в них не содержалось «артикулированной идеи современной этнокультурной белорусской нации» [379, с. 234]. С этим сложно не согласиться. Действительно в текстах «Мужицкой правды» отсутствуют термины Беларусь, белорусы, белорусский язык, а «литовско-белорусский сепаратизм» К. Калиновского по отношению к Польше не носил национального характера. Действительно публицистика К. Калиновского не была воспринята теми, кому адресовалась. В последнем случае свидетельство Я. Кучевски-Порая («"Мужицкая правда" не создала нигде ни влияния, ни того чувства, которые она старалась вызвать; общее недоверие к панам, а так же барщина были в числе главных причин того, что крестьяне быстро поняли, что обиды те не рукой крестьянина "Янки из под Вильны", а рукой какого-то скрывающегося пана написаны были, что это не было в ней воли народа, к чему тот Янка подталкивал, потому что народ не хотел в то время большего, имея свободу и землю ...»), приведенное Р. Радзиком [379, с. 236], совпадает с мнением В. Савич-Заблоцкого: «Когда Калиновский пан писать стал повстанческую "Белорусскую гуторку", "Гуторку старого деда", Грамоты, Грамотки, Прокламации и т. д., народ не стал верить этим, которые к нему по-мужицки обращались» [190, с. 316].

Вместе с тем едва ли можно согласиться с Р. Радзиком в том, что «вне всякого сомнения Калиновский был *типичным* (курсив наш. — *П. Т.)* представителем культурного пограничья» [379, с. 235]. Публицистика К. Калиновского, как по своему социально заостренному содержанию, так и по форме — явление, как для Беларуси, так и в масштабах всего восстания 1863 г., явно не типичное, что отмечают и польские авторы [341, с. 396]. Это очевидно, по крайней мере, если сравнить ее с тем, что издавалось в ситуации другого, польско-украинского пограничья. Кастусь Калиновский, что отмечает и Рышард Радзик, в «Письме из-под виселицы» упоминал белорусов и белорусский язык («ни услышишь и слова ...по-белоруски») в одном ряду с поляками и литовцами, польским и литовским языками, и, сле-

довательно, на наш взгляд, рассматривал их как понятия однопорядковые. Вполне возможно допустить, что упомянутая М. Кояловичем точка зрения («история выработала для белорусов особую национальность») разделялась и К. Калиновским. Но самое главное, не поддающаяся формальному анализу эмоциональная окраска «Письма из-под виселицы» ясно свидетельствует о том, что К. Калиновский совершил то, что было не под силу Я. Чечоту и В. Дунину-Марцинкевичу, а именно — преодолел психологический барьер, разделявший его и крестьян («братья мои, мужики родные»), а потому может считаться, если и не выразителем национальной идеологии, то все же не типичным человеком пограничья, а народным (а с точки зрения сегодняшнего дня — национальным) героем Беларуси. Что же касается негативного отношения белорусских крестьян и к восстанию в целом, и к агитационной деятельности К. Калиновского, то рассматривать эти факты необходимо в широком контексте. Не только история восстания в Беларуси, но и в (этнической) Польше, представляет примеры, пусть даже и отдельные, когда, несмотря на отсутствие языковых и конфессиональных барьеров, крестьяне доносили о местонахождении повстанческих отрядов, выступали против них на стороне российской армии и даже добивали (sic !) раненых повстанцев на полях сражений [338, с. 81, 82]. Впрочем, это был еще не самый трагический случай в истории Польши. Так, попытка поднять антиавстрийское восстание в Галиции в 1846 г. наткнулась на активное сопротивление крестьян, вылившееся в массовую резню помещиков и разграбление имений [341, с. 302]. А в 1848 г. крестьяне Ломбардии приветствовали подавление австрийскими войсками восстания итальянских националистов с лозунгами «Смерть хозяевам» [242, с. 178]. Для Европы того времени в целом было характерно, что крестьяне скорее выступали на стороне монархической власти, чем революционеров-демократов, выступавших от их имени и во имя их (крестьян) блага. Во время «весны народов», как это метко отметил Э. Хобсбаум, «почти во всей Восточной Европе славянские крестьяне, одетые в форму имперских солдат, успешно подавляли выступления германских и мадьярских революционеров [242, с. 180].

Население Беларуси на рубеже 1850—1860-х гг. Этнические, социальные, конфессиональные и региональные параметры

Совокупность статистических источников рубежа 50-х — начала 60-х гг. XIX в. позволяет реконструировать этническую, этносоциальную и этноконфессиональную структуру населения Беларуси того времени [сведения подсчитаны на основании следующих источников: 12, 208, 245—249]. Необходимо отметить, что в этот период надежные критерии определения этнической принадлежности отсутствовали. Во многом это было обусловлено тем, что процессы национальной консолидации белорусов и других народов находились в зачаточном состоянии. Сохранялось преобладание конфессионального самосознания над собственно этническим. Поэтому в различных источниках обнаруживается значительное колебание численности представителей различных этносов, особенно белорусов и поляков.

Удельный вес белорусов (имеется в виду население, не относившееся ни к полякам, ни к русским, ни к украинцам) колебался от 72 до 75 % — т. е. 2,4 — 2,5 млн человек. Подавляющее большинство из них составляли сельские жители. Только приблизительно 120 тыс. белорусов проживало в городах и 60 тыс. в местечках. Большую часть белорусов — 84 % составляли православные, остальные — католики, известны отдельные случаи белорусов-старообрядцев. Удельный вес белорусов-католиков сильно варьировал: в «белорусских» уездах Виленской губернии он доходил до 52 %, а в Могилевской снижался до 2,2 %.

«Приходские списки» зафиксировали несколько этнонимов, употреблявшихся или предписываемых в это время белорусам. При этом собственно этноним «белорусы» в наибольшей степени был распространен в Витебском, Дисненском, Лепельском и Полоцком уездах Витебской и в Могилевской губерниях. Более того, никаких других этнонимов этим источником здесь не зафиксировано [246, 249]. При этом в Дисненском и Лепельском уездах белорусами названы и православные и католики.

В противоположность этому на западе отмечался чрезвычайный разнобой в определении белорусов. Преобладающим был этноним «литвины». Наиболее распространенным это самоназвание было среди коренного населения (как православного, так и католического) Гродненского, Волковысского, Слонимского и частично Слуцкого уездов. Нередко священники называли своих прихо-

жан «литовцами, говорящими белорусским языком», «литовцами, говорящими наречием белорусским» (Вилейский уезд), считали, что они «жители литовского племени, *но* (курсив наш. — *П. Т.)* все говорят белорусским языком кроме дворян» (Свентянский уезд), определяли их как «литовцев на Руси», «литовцев-славян. К их славянскому наречию очень мало примешивается языка литовского» (Лидский уезд) [245, л. 28; 59, с. 85]. Ряд определений носил парадоксальный характер. Так, в Новогрудском уезде население местечек Кривошин, Ишкольдь, Крошин, Своятичи и Снов было описано следующим образом: «Помещики и дворяне — поляки, простонародье: мало-польско-русаки»[248, л. 675, 678—681, 684]. Скорее всего плодом фантазии следует считать и отнесение 23 тыс. католиков в Лидском уезде к кривичам, так как никакими другими источниками этого периода данный этноним не подтверждается [88, с. 150]. Лишь в одном случае в Новогрудском уезде отмечено, что «жители славяно-кривицкого и польского» племен, а «у низшего класса польско-русский язык» [248, л. 669]. Часто население определялось просто как «славяне» или «жители славянского закона», что особенно было характерно для восточной части Минской губернии. Материалы «Приходских списков» в то же время свидетельствуют, что этноним «белорусы» и/или представления о коренном населении как о белорусах получили достаточно широкое распространение в традиционно «литвинском» этнонимическом ареале. Так, к белорусам было отнесено население, в том числе и католическое, Волпы, Кринок (Гродненский уезд), Гудзевичей, Кузмичей, Росси, Свислочи (Волковысский уезд), Миловидов (Слонимский уезд; все православные Вельского уезда [247, л. 95—108, 311, 368]. Нередко белорусы противопоставлялись литвинам, например в г. Слониме отмечено, что «должностные лица не местные уроженцы, есть великорусы, малороссы и белорусы, мещане же принадлежат к местному литовскому племени» [247, л. 274]. А в Минском, Дисняском, Борисовском, Лидском, Ошмянском, Вилейском и Дриссенском уездах сложилась ситуация, когда «литвинами» преимущественно называли католиков, а православных — «белорусами» [245, л. 28; 88, с. 149—151].

Характер самоопределения белорусов-мещан главным образом определялся конфессиональной принадлежностью. Однако при этом большое значение имела общая этнокультурная атмосфера в каждом конкретном городе или местечке. «Хотя в Минске большинство жителей из низших сословий православного вероисповедания, — отмечал А. Киркор, — общий народный характер города чисто польский... Только приезжие чиновники служат представи-

телями русской интеллигенции. В Витебске и Могилеве ... русский язык господствует» [50, с. 361]. Характерно, что этноним белорусы в «литвинском» ареале распространялся преимущественно среди местечкового населения, что уже отмечено выше. Материалы периодической печати свидетельствуют, что таким образом они обозначали свою принадлежность к восточнославянской общности, по принципу «Мы белорусы... значит русские» [39].

Наряду с основными этнонимическими формами сохранялись многочисленные локальные этниконы. Особый интерес в данном случае представляет название «чернорусы». «Приходские списки» зафиксировали его преимущественно в Слуцком уезде, в том числе в Несвиже, Говезно, Клецке, Синявке, Блячине, Голдовичах, Голынке, Денисковичах, Зубках, Круговичах, Лани, Локтышах, Малеве, Мокринах, Подлесье, Солтановщине, а также в Аннополе Игуменского уезда [248, л. 507, 509, 512, 519, 523, 531, 532, 534, 539, 542, 544, 545, 547, 550, 553, 558, 575]. Картографирование свидетельствует о том, что это (за исключением Аннополя) была относительно узкая полоса поселений, протянувшихся от Городеи, на юг, через Клецк и Синявку до Огаревичей, в которых проживало всего около 19 тыс. чел. Реальность бытования этого этнонима подтверждается работами П. Бобровского и И. Зеленского, польского путешественника Я. Маяркевича. Известный собиратель фольклора И. Боричевский ставил народное творчество чернорусов в один ряд с белорусским, польским и мазовецким [41, с. 78, 110]. Учитывая то, что в феодальную эпоху этническое самосознание наиболее отчетливо в контактных зонах, можно предположить, что данный этноним — след некогда реально существовавшей границы Черной и Белой Руси.

Специфическую этнографическую группу составляло коренное население Полесья и, особенно, Западного (Кобринского, Брестского и юго-западной части Пружанского уездов). Относительно этнической принадлежности этого населения в белорусской историографии второй половины XX в. сложилась странная традиция умолчания проблемы. Это вынуждает нас остановиться подробнее на этом сюжете. Дело в том, что большинство исследователей середины и статистических источников XIX — начала XX в. рассматривали значительную часть населения Западного Полесья как украинцев, а их язык — в качестве диалекта украинского языка. Такой подход был характерен для составителей этнографических атласов Р. Эркерта [317] и А. Риттиха [166], историков М. Кояловича [80] и Л. Василевского [402], этнографов Е. Карского [66] и Е. Романова [171], причем двух последних едва ли можно заподозрить в отсутствии белорусского патриотизма.

Общая численность украинцев в Западном Полесье по разным источникам составляла от 95 до 140 тыс. чел. (2,8—4,2 % всего населения Беларуси). Достаточно подробную информацию об этническом составе населения Западного Полесья дает табл. 1. Представленные в ней данные были собраны Гродненским губернским статистическим комитетом совместно с силами полиции («капитан-исправниками») [133, л. 6]. При этом, естественно, обращает на себя внимание высокий удельный вес украинского населения в Брестском (51,35 %) и Кобринском (69,59 %) уездах.

Таблица 1

Этнический состав населения Брестского, Кобринского и Пружанского уездов по материалам статистического исследования 1869 г.

Этнические группы	Население, чел.			Население, %		
	Городское	Сельское	Всего	Городское	Сельское	Всего
Русские	615	144	759	2,1	0,0	0,2
Украинцы	811	140202	141013	2,8	48,1	44,1
Белорусы	7818	127698	135516	27,6	43,8	42,4
Поляки	949	4705	5654	3,3	1,6	1,7
Литовцы	43	7	50	ОД	0,0	0,0
Немцы	293	490	783	1,0	0,2	0,2
Евреи	17729	18054	35783	62,5	6,2	11,2
Татары	101	9	110	0,3	0,0	0,0
Цыгане	0	15	15	0,0	0,0	0,0
Всего	28359	291324	319683			

Вместе с тем нельзя не отметить, что определенная часть исследователей считала, что, несмотря на свое своеобразие, западнополесское население все же ближе к белорусам, чем к украинцам. Такой точки зрения придерживался Ю. Талько-Гринцевич, который, однако, подчеркивал, что антропологические черты позволяют выделить полешуков в самостоятельную группу [220]. Аналогичное мнение, исходя из этнографического материала, высказывали М. Довнар-Запольский [45] и И. Эремич [316]. А, например, Е. Белыницкий-Бируля, один из корреспондентов Е. Карского, считал, что согласно с его собственными наблюдениями белорусами необходимо считать не только население юга Гродненской губернии, но и жителей Ковельского, Ровенского, Луцкого, Овручского и Радомысльского уездов, а также — частично Новоград-Волынского и

Житомирского, среди которых сохранились следы «первоначального Кривицко-Белоруского говора» [295, л. 1, 2]. Необходимо отметить, что это, достаточно спорное утверждение, отчасти подтверждается материалами «Дриходских списков», согласно которым в Луцком уезде проживали 620 белорусов и 2691 литовец (литвин?), Радомысльском — 452 белоруса (выходцев из Минской губернии) и 32 252 литовца (литвина?), в Новоград- Волынском — 2381 белорус и 1153 литовца (литвина?), Житомирском — 3355, Кременецком 20 208 белорусов, Владимирском — 1990 белорусов, Острожском — 1777 литовцев, Овручском — 5293 литовца, Киевском — 10 186 белорусов, Каневском — 2983 литовца, Сквирском — 1243 литовца, Таращанском — 1548 литовцев. А всего в Волынской и Киевской губерниях зафиксировано 40 233 белоруса и 49 269 литовцев (литвинов?) или соответственно 1,27 % и 1,56 % населения [88, с. 154—158].

И, наконец, существовал достаточно большой круг исследователей, которые рассматривали полешуков в качестве самостоятельной этнографической и лингвистической группы. Одним из первых это отметил П. Шпилевский, который сознательно отличал «полесский язык» от белорусского и достаточно точно обозначил границы его распространения: от Бялой (Бяло-Падляски) и Хелма на западе до Синявки на северо-востоке, включая Брестский, Кобринский и Пинский уезды. Граница между полесскими и белорусскими говорами, с его точки зрения совпадала с границей Минской губернии [310, с. 11, 29, 36]. П. Бобровский, называя жителей Западного Полесья «палешуками», «пинчуками», «бужанами» («рушками»), подчеркивал, что язык их («королевский говор») значительно отличается от говора малороссийского, а тем более — от белорусского, однако с тем и с другим имеет много общего» [18, с. 623, 647]. И. Зеленский отмечал, что «полесяне — жители Пинского уезда, не относятся ни к украинцам, ни к белорусам, ни к чернорусам», а язык их — «переход от белорусского говора к волынскому» [55, с. 36, 409, 411]. По мнению А. Киркора, «не мало этнографических особенностей» отличают полешуков «даже от соседей белорусов или малоруссов». При этом к полешукам он относил население Пинского, Речицкого и Мозырского уездов [50, с. 345]. П. Чубинский относил полесский диалект к «малороссийскому» языку, наряду с украинским и червонорусским. Он отмечал схожесть полесского диалекта с украинским в грамматическом отношении, однако подчеркивал фонетические отличия как от украинского, так и от червонорусского [82]. Т. Флоринский считал «пинчуков» белорусами, хотя и отмечал, что по языку они ближе к малоруссам, а язык населения

Брестского, Кобринского и Пружанского уездов он относил к падляшскому поддиалекту малороссийского языка [235, с. 42, 45]. Среди сторонников точки зрения самобытности населения Полесья особо надо выделить позицию Й. Обрембского, подошедшего к этой проблеме с теоретических позиций и считавшего возможным квалифицировать полешуков в качестве обособленной этнической группы [374, с. 5].

Пестрота научных точек зрения во многом была обусловлена сложностью самой этнокультурной ситуации на Полесье. Определенное представление о ней дают материалы «Приходских списков», которые зафиксировали следующие формы этнонимов: «славяно-русы» (вероятно просто «русины» или «руськие»), литовцы (скорее всего «литвины»), белорусы, бужане и ятвяги. Численное соотношение этих групп представлено в табл. 2. Заметим, что само название «полешуки» зафиксировано приходскими списками за пределами собственно Полесского региона — на юге Слонимского уезда [247, л. 32]. Впрочем, не исключено, что именно здесь находилось полесско-белорусское пограничье. А в условиях традиционного общества этническое и региональное самосознание чаще всего артикулируется именно в таких ситуациях.

На наш взгляд, тот или иной этноним, упомянутый в «Приходских списках», может считаться реальным, если его распространение подтверждено другими источниками. Естественно, что наибольшее сомнение вызывают «бужане» и «ятвяги». Что касается первых, то аргументом в пользу их реальности служит, во-первых, картографирование — все они встречались в приходах, действительно располагавшихся поблизости от р. Буг. Во-вторых, замечание одного из священников — составителей анкеты из д. Зелава Кобринского уезда: «По происхождению своему бужане, доказательством чего служит местонахождение их жительства» [247, л. **211]. И,** в-третьих, упоминание о бужанах в этнографической литературе, например, в уже приведенной выше точке зрения П. Бобровского.

Таблица 2

Этнический состав населения Западного Полесья
по материалам «Приходских списков»

Этнические группы	Население, чел.			
	Брестский уезд	Кобринский уезд	Пружанский уезд	Всего
Белорусы	1205	2614	________	3819
Украинцы (малороссы)	31340	33136	30263	94739
Русины (русские)	24333	17731	307	42371
Литовцы (литвины)	7210	539	27610	35359
Бужане	4368	1095	________	**5463**
Ятвяги	1616	22725	________	**24341**
Поляки	5129	4599	6477	16205

Куда более проблематичной представляется реальность существования в середине XIX в. ятвягов. Кроме Брестского и Кобринского уездов «Приходские списки» зафиксировали ятвягов в Волковысском (Доброволя, Клепча, Левшова — всего 2843 чел.) и Вельском (Старый Кронин и Чижы — 3741 чел.) уездах. В Брестском, Волковысском и Вельском уездах они образовывали единый ареал, размещенный вокруг Беловежской пущи. Население его, по свидетельству П. Шпилевского, составляло «какое-то особое племя, то ли русское, то ли литовское, язык их — смесь древнелитовской и русской, одежда — полесская» **[310,** с. **29].** Возможно, что именно эта группа и могла сохранить остатки ятвяжского самосознания, тем более, что их место жительства действительно совпадает с ареалом расселения древних ятвягов.

Куда менее вероятной представляется возможность того, что ятвягами себя в то время могла считать большая часть горожан Кобрина, Антополя и т. д. В анкетах «Приходских списков» обычно нет объяснений ятвяжского происхождения жителей. Однако в некоторых из них оставлены следующие замечания: «Жители славянского племени, но, возможно, есть примесь древнего племени ядвингов» (мест. Антополь), «белорусы, которые происходят ядвингов и ячургов» (д. Пыловица), «все по сказанию истории г. Павлищева должны происходить от племени летов и ятвягов» (мест. Добраволя). В последнем случае имеется в виду учебник польской истории М. Павлищева, в котором содержались сведения о древних ятвягах и ядвингах — «народе сарматского происхождения, который жил по Нареву и Бугу в пределах позднейшего Падлясья» [155, с. 2]. Не исключено, что именно эта работа повлияла на взгляды и остальных священников. В пользу «книжного» происхождения названия ятвяги говорит и то, что других свидетельств существования этого этнонима в середине

XIX в. нет. Более того, публикация результатов анкетирования М. Лебедкиным вызвала недоверие научной общественности и именно вследствие упоминания названия ятвяги. Так, П. Бобровский неоднократно подчеркивал, что представления о существовании ятвягов в его время — «грубая ошибка», что «ятвяги целиком исчезли» [18, с. 26, 47].

Подводя итоги обзора статистических источников и мнений по проблеме этнической принадлежности населения Полесья в XIX — начале XX в. нам хотелось бы отметить следующее. С лингвистической и этнографической точек зрения этот регион не был тождественен ни украинскому., ни белорусскому этносу, хотя к первому он был, несомненно, ближе, чем ко второму. При этом лингвистические особенности населения именно Брестского, Кобринского и, частично, Пружанского уездов нашли свое отражение и в этнической статистике. Именно в середине XIX в. была заложена устойчивая традиция их обозначения как украинцев. Вместе с тем она едва ли отражала реальные формы этнического сознания.

Установить точную численность поляков достаточно сложно. По разным источникам она колебалась от 264 до 317 тыс. чел. (7,5—9,5 % населения). Очевидно, что большинство из них составляли католики — потомки коренного населения, которые хотя по конфессиональному признаку относили себя к полякам, сохраняли в значительной степени культурную и языковую белорусскую специфику. Согласно материалам «Приходских списков» к полякам относились «помещики и дворяне», «высший класс», либо отмечалось, что «дворяне разговаривают на польском языке», «высший класс говорит чисто по-польски». Вместе с тем численность поляков по крайней мере на 100—150 тыс. чел. превышала численность дворян. Если исключить из этого населения мещан-католиков (преимущественно поляков), то логично будет предположить, что порядка 60—110 тыс. поляков составляли крепостные крестьяне. Свыше 70 % польского населения было сконцентрировано на северо-западе Беларуси. Наиболее высоким их удельный вес был в Минской (11,4 % населения) и в «белорусских уездах» Виленской (21 %) губерний. В отдельных уездах — Вилейском и Диснянском, например, достигал 25 %. Поляки были почти исключительно католиками, только в Слуцке и Копыле сохранялись небольшие протестантские общины (всего 0,2 тыс. чел.), состоявшие из потомков местной полонизированной аристократии [248, л. 566—570].

Большую часть русского населения составляла этноконфессиональная группа старообрядцев — всего 34 тыс. чел. (1,1 % населения). Старообрядческое население формировалось из потомков переселенцев из России XVII—XVIII вв. Они проживали в Гомельском (свыше 11 % всех жителей), Витебском (6,6 %), Полоцком (5,8 %), Сенненском (2,9 %), Диснянском (2,3 %), Бобруйском (2,2 %), Борисовском (1,4 %) уездах. На Полесье и в Гродненской губернии старообрядцев не было. Около 28 % всех староверов проживало в городах. В конце XVIII—XIX вв. царская администрация относилась к старообрядцам с повышенной подозрительностью, принимала меры по ограничению их контактов с местным населением.

Удельный вес русского православного населения, судя по имеющимся сведениям, по 10 уездам колебался от 0,58 до 0,1 % населения. Исходя из этого, можно предположить, что общая их численность не превышала 10 тыс. чел. (0,3 %). Среди них были не только чиновники и помещики, но и рабочие. Так, на Высочанской мануфактуре в Оршанском уезде было занято до 500 русских рабочих.

Общая численность евреев составляла около 350 тыс. чел. (10,8 % населения). В связи с запрещением проживать в сельской местности, в городах и местечках евреи составляли от 30 % до 70 % жителей. Для них была характерна относительная равномерность распределения по территории Беларуси, вместе с тем их удельный вес возрастал с запада на восток с 7,8 % до 14 %. В ряде случаев царское правительство содействовало созданию так называемых еврейских «земледельческих колоний». В 1864 г. в Могилевской губернии в них проживало около 7 тыс. чел. С социальной точки зрения в этот период они представляли еще достаточно однородную мещанскую группу, не более 2—3 % из них относились к купеческому сословию. Исключительную роль в поддержании замкнутости евреев продолжала играть религиозная принадлежность.

Основная часть татар (всего 3,5 тыс. чел.) размещалась в «белорусских уездах» Виленской губернии, Гродненском, Слонимском, Слуцком, Борисовском, Игуменском уездах. Татары проживали в городах и местечках и нередко занимали достаточно заметное место в структуре населения, например в Минске — 2,5 %, в Новогрудке — 4,9 %. В городских поселениях татары располагались отдельно от других жителей — в гомогенных по составу населения слободах. Около 35 % татарского населения от-

носилось к сословию дворян, остальные — мещане. Хотя татары образовывали замкнутую этноконфессиональную группу, это не сдерживало их сближение с белорусами, проявлявшееся, прежде всего в языковой сфере.

Характерным компонентом этнической структуры были немецкие переселенцы, всего 4 тыс. чел., отдельные семьи которых можно было встретить почти в каждом городе и большом местечке. В Минске немецкое население составляло около 1,8 % жителей. В Западном Полесье существовали поселения немецких колонистов, в крупнейшем из них — Нейдорфе в Брестском уезде проживало свыше 1,1 тыс. чел.

Этносоциальная структура населения Беларуси сохраняла прежний феодально-сословный характер. Подавляющее большинство его — свыше 79 % составляли различные категории крепостных крестьян. Эта группа была представлена белорусами, полешуками, поляками. Большей сложностью отличался этнический состав многочисленного сословия мещан (всего 465 тыс. чел. — 13,7 % населения). Большую часть их составляли евреи (60 %), не менее 30 % — белорусы, около 8 % — поляки, остальные — русские, татары, немцы. Численность представителей купеческого сословия не превышала 9—10 тыс. чел., 72 % его составляли евреи. Немногочисленным был и основной господствующий класс помещиков: всего около 9 тыс. чел. (0,25 % населения). Свыше 93 % его составляли католики, которым принадлежало 77 % крепостных крестьян и 94,7 % земельной собственности [193, с. 15]. В то же время часть из них знала и нередко пользовалась белорусским языком и сохраняла элементы местного («литовского» или «белорусского») регионального самосознания и с поляками себя полностью не отождествляла. Остальная часть помещиков была представлена русскими и выходцами из Прибалтики — «остзейскими немцами».

Достаточно не однородным был этнический состав малоземельной шляхты, насчитывавшей свыше 150 тыс. чел. (4,4 %). Представления о ее тотальной принадлежности к католицизму далеко не соответствует действительности. Так, по сведениям И. Зеленского в Минской губернии, например, до 30 % ее, а в Мозырском и Пинском уездах соответственно до 54,5 % и 77 % составляли православные [55, с. 361]. Эти данные подтверждаются и архивными материалами 1868 г. по пяти уездам Минской губернии. Доля православных среди шляхты и «не утвержденных в дворянстве обывателей» составила 49 %, при этом в Игуменском

уезде она была 22 %, в Слуцком — 31 %, Минском — 32 %, Речицком — 54 %, Пинском — 87,5 % [116]. Уровень образования среди подавляющей части мелкого дворянства был очень низок. Свою этническую принадлежность его представители тесно связывали с конфессиональной: католики называли себя поляками, православные — русскими. Относительно небольшую часть мелкого дворянства составляли переселенцы из Польши («мазуры»), а также татары.

Крупнейшую конфессиональную группу составляли православные — 2356 тыс. чел. (70,2 % населения). В ее состав входили белорусы (89 % всех православных), полешуки, русские. Среди православного коренного населения широкое распространение имела форма самоназвания «русыия», которая выполняла не только функции конфессионима, но средства выделения из восточнославянской общности. Как отмечал К. Касович, «белорус не скажет про москвича, что тот говорит "по-руськи", но по-московски» [97, с. 341]. Значительной была численность католиков — свыше 600 тыс. чел. (18 %). Удельный вес католического населения сильно варьировал. В самом «католическом» Ошмянском уезде он составлял 72 % и постепенно снижался к югу, востоку и северо-востоку. В Городском уезде не превышал 0,8 % жителей. В состав конфессиональной группы лютеран (0,18 %) входили немцы и латыши. Старообрядцы-русские, иудеи-евреи и мусульмане-татары образовывали этноконфессиональные группы, у которых конфессиональный и этнический показатели почти полностью совпадали.

Для этносоциальных, этноконфессиональных и социоконфессиональных параметров населения Беларуси была характерна значительная пространственная вариабельность. Картографирование этих данных позволяет выделить ряд регионов, отличавшихся специфическими этносоциальными и конфессиональными особенностями: Восточный, Западный, Среднебелорусский, Западное Полесье, Центральное и Восточное Полесье. Эти регионы в определенной степени соотносятся, хотя точно не совпадают с утвердившимся в белорусской этнографии 1970—1980-х гг. историко-этнографическими регионами [например 224].

В Восточном регионе, включавшем Могилевскую губернию и Витебский и Городский уезды Витебской губернии, проживало около 32 % населения Беларуси (1065 тыс. чел.). Удельный вес белорусов доходил до 79 %. Здесь было сосредоточено свыше 60 % старообрядцев, они составляли 2,1 % населения региона (в

два раза выше, чем по Беларуси). Превышали средние показатели и удельный вес евреев — 13,7 % . В то же время удельный вес поляков доходил только до 3,2 %. Православные составляли 79,5 %, а католики — 4,1 % населения. Характерной особенностью региона были существенные отличия структур городского и местечкового населения. В городах белорусы составляли не менее 47,8 % населения, в то же время 91,3 % жителей местечек составляли евреи. Специфической чертой региона в целом было исторически обусловленное тяготение к русской культуре, социальный престиж которой был выше, чем польской. Общая этнокультурная «атмосфера» городской жизни была преимущественно русской. В Восточном регионе, территория которого включала в себя большую часть «исторической» Беларуси, самоназвание «белорусы» сочеталось с многочисленными урбанистическими этниконами, типа «витебцы», «мстиславцы», «магилевцы», «гомельцы» и т. д.

Совсем иная ситуация складывалась в Западном регионе — Гродненском, Волковысском, Слонимском уездах Гродненской, Вилейском, Диснянском, Лидском, Ошмянском Виленской, Минском, Новогрудском, Слуцком Минской и Дрисском уезде Витебской губерний, в которых проживало 1241 тыс. чел. (37 % населения Беларуси). В этом регионе было сосредоточено свыше 76 % католического населения Беларуси, они составляли 35,5 % его жителей. В Ошмянском, Лидском и Волковысском уездах удельный вес католиков (соответственно 72,4 %, 55,1 %, 52,1 %) превышал православных. В отличие от остальных регионов, где католики были преимущественно представителями привилегированных сословий, в Западном регионе большую часть католиков составляли крестьяне. Общая этнокультурная обстановка отличалась ориентацией на польскую культуру. Удельный вес поляков доходил до 17,1 %. Доля евреев была наименьшей из всех регионов — 8,4 % . В Западном регионе проживало 77 % татарского населения Беларуси. Специфическим для региона был низкий удельный вес городского (6,9 %) и высокий (10 %) — местечкового населения. В городах 27 % составляли католики, 23 %— православные, 39 % — евреи. В местечках еврейское население составляло 48 %.

Между Западным и Восточным регионами располагалась своеобразная переходная Среднебелорусская зона — Полоцкий, Лепельский, Борисовский, Игуменский и Бобруйский уезды (463 тыс. чел. — 13,8 % населения), для этносоциальных и кон-

фессиональных параметров населения характерны черты обоих регионов и приближение к средним показателям по Беларуси. Удельный вес белорусов доходил до 82 %, поляков — 6,3 %, русских-старообрядцев — 1,5 %, евреев — 9,1 %, немцев и татар — по 0,1 %. Православные составляли **74,4** %, католики — **14,6** % населения. Городское и местечковое население было относительно немногочисленным — соответственно 8,2 % и 7,8 %. В городах был исключительно высок удельный вес евреев — 60,8 % — наибольший из всех регионов. В местечках евреи составляли 75 % жителей.

Характерной чертой Центрального и Восточного Полесья (Мозырский, Пинский и Речицкий уезды) был высокий удельный вес коренного населения — в целом по региону — свыше 80 %, в Речицком — 86 %. Характерно, что подавляющее большинство католиков были представлены шляхтой и мещанами. Крестьяне составляли только 5 % католического населения. При этом часть католиков называла себя «литвинами». Специфической особенностью региона был высокий удельный вес белорусов (40 %) среди горожан. В Мозыре он, например, составлял 63,6 %. В местечках коренное население составляло до 49 % жителей. Всего в Восточном и Центральном Полесье проживало 282 тыс. чел. (8,4 % населения Беларуси).

Большую часть населения Западного Полесья — Брестского, Кобринского и Пружанского уездов (298 тыс. чел. — 8,8 % населения) составляли представители особой группы населения, которая описана выше. Северо-восток Пружанского уезда занимали компактно расселенные белорусы-«литвины» (31 тыс. чел. — 12,8 % населения региона). Удельный вес поляков (5,5 %) и евреев (10,1 %) был выше, чем в Восточном и Центральном Полесье. В Западном Полесье проживало свыше 33 % всего немецкого населения Беларуси, удельный вес их доходил до 0,5 %. Конфессиональная ситуация отличалась высоким удельным весом православных — **81,7** %, в то время как удельный вес католиков (7,6 %) был в два раза ниже среднего уровня. Существенно отличалась от остальной части Полесья структура городского населения: коренные жители составляли только 18,4 % горожан, поляки — 24,5 %, евреи — 51,6 %, русские — свыше 6 %.

Необходимо отметить, что границы выделенных регионов в достаточной степени условны, так как расчеты основаны на сведениях по уездам, территория которых, естественно, не совпадает с региональным делением. Поэтому эти регионы следует рассмат-

ривать как отражение наиболее общих закономерностей пространственной вариативности этносоциальных и конфессиональных параметров населения Беларуси. Более точное представление о конфессиональных параметрах населения регионов дают табл. 3 и табл. 4 [подсчитано автором по 208].

Таблица 3

Конфессиональный состав населения Беларуси по регионам на 1858 г.

Конфессии	Население по регионам, чел.					
	Восточный	Западный	Среднебелорусский	Восточное Полесье	Западное Полесье	Всего
Православные	850466	686849	345091	230392	243655	2356453
Католики	43959	441287	67808	26100	22828	601982
Староверы	22673	4311	7133	**59**	———	34176
Иудеи	147989	104742	42631	L **25418**	30371	351151
Лютеране	576	1245	529	**318**	1353	4021
Мусульмане	—	2739	548	—	5	3292
Всего	1065663	1241173	463740	**282287**	298212	3351075

Таблица 4

Конфессиональный состав населения Беларуси по регионам на 1858 г.

Конфессии	Население по регионам, %					
	Восточный	Западный	Среднебелорусский	Восточное Полесье	Западное Полесье	Всего
Православные	79,5	55,3	**74,4**	**81,6**	81,7	**70,3**
Католики	**4,1**	35,5	**14,6**	**9,2**	7,6	**17,9**
Староверы	**2,1**	0,3	**1,5**	0,02	—	1.0
Иудеи	13,7	8,4	9ТГ-	**9,0**	**10,1**	**10,4**
Лютеране	**0,05**	ОД	0,01	**0,1**	0,4	**0,11**
Мусульмане		0,2	**0,01**	—	0,00	0,09

На рубеже 1850—1860-х гг. население Беларуси сохраняло ту этносоциальную структуру, которая сформировалась в XVII—XVIII вв., а белорусский этнос — систему этнонимических названий той же эпохи. Общее этническое самосознание начало формироваться только у небольшой части его представителей: узкого круга интеллигенции, выходцев из среды шляхты и духовенства, а также у отдельных представителей господствующего класса.

Украинцы

Также как и в Беларуси, в Украине развитие национальных процессов находилось на стадии «А» по классификации М. Гроха. Однако масштабы артикуляции этничности в значительной степени превосходят белорусские. Они проявились в развитии историографии, филологии, этнографии и фольклористики, литературы. В этой связи необходимо отметить публикации Д. Бан-тыш-Каменского («История Малой России», 1822), Н. Маркевича («История Малоросии», 1842), О. Бодянского («Истории Русов», 1828), А. Павловского («Грамматики малороссийского наречия», 1818), сборники этнографических и фольклорных материалов Н. Церетели (1819) и особенно М. Максимовича (1827), В. Залесского (1833), Й. Лозинского (1835). Вне всякого сомнения большое значение имело развитие украинской литературы, причем не только для самой Украины. Очевидно, что публикация И. Котляревским «Энеиды» (1798, 1809) непосредственным образом способствовала появлению одноименной поэмы на белорусском языке, о чем свидетельствуют и текстуальные совпадения [93, с. 325]. Творчество Т. Шевченко оказало влияние на становление белорусской литературы [305]. В украинском движении достаточно рано начала формироваться национальная идеология: опубликованная О. Бодянским «История Русов» имела откровенную антипольскую и антироссийскую направленность. Национальная идеология заняла четко очерченное место в программе созданного Н. Костомаровым Кирило-Мефодиевского братства (1845—1847 гг.). Наконец, украинское движение получило опыт участия в политической борьбе во время революции 1848 г. («Головна Руська Рада» во Львове). Вместе с тем украинское движение, так же как и белорусское оставалось малочисленным, находившимся на перифе-

рии социальных интересов большинства населения. О чем свидетельствует, например, отсутствие интереса к национальной литературе даже в Галицийской Украине [38, с. 51]. Существенным отличием украинского движения было наличие преемственности, практически неизвестной белорусскому. Она проявлялась в преемственности идеологической. Так, известно, что «История Русов», памятник идеологии автономистов конца XVIII в., как никакое другое произведение оказало сильное влияние на формирование сознания молодого Т. Шевченко [38, с. 26]. Преемственность проявлялась на академическом уровне (П. Кулиш и Н. Костомаров были учениками И. Срезневского и М. Максимовича) и семейном уровне (сын одного из участников «Руськой троицы» Маркияна Шашкевича — Владимир стал во главе национального движения в Галиччине в начале 60-х гг. XIX в.) [38, с. 36, 76.].

Причины различий многообразны. Главная из них коренится в принципиальных различиях этносоциальной и конфессиональной структуры населения, по крайней мере, на значительной части этнической территории Украины.

Оно отличалось значительно большей гомогенностью, большим удельным весом коренного населения. Согласно реконструкциям В. М. Кабузана и Г. П. Махновой, в Левобережьи в конце XVIII в. украинцы составляли 98,1 % населения, Слобожанщине — 85,9 % [59, с. 31, 32]. Едва ли эта ситуация существенным образом поменялась к середине XIX в. Если считать конфессиональную принадлежность тесно сопряженной с этнической у католиков и иудеев (соответственно поляков и евреев), то удельный вес этих групп в Украине был значительно ниже, чем в Беларуси — 4,24 % и 6,25 %. При этом 92 % католиков и 79,5 % иудеев было сосредоточено в Правобережьи, где их удельный вес примерно соответствовал ситуации в Беларуси — 9,1 % и 11,6 % . В то же время доля католиков и иудеев в Черниговской губернии не превышала соответственно 0,1 % и 2,15 % , в Полтавской — 0,06 % и 1,46 %, Екатеринославской — 0,68 % и 2,22 %, Харьковской — 0,07 % и 0,02 %.

Различия касаются, в частности, соотношения еврейского и «христианского» населения в структуре основных городских сословий. Так, согласно окладной книге за 1817 г. евреи составляли 13,9 % купеческого сословия Украины (на Беларуси 72,8 %) и 55,1 % мещан (78,9 %) [подсчитано автором по 160]. При этом ситуация в Волынской и Подольской губерниях была схожа с белорусской, евреи составляли 63,8 % купцов и 87,3 % мещан. А в

Полтавской, Черниговской и Екатеринославской губерниях евреи составляли лишь 5,0 % купцов и 17,6 % мещан.

Следующее, не менее важное отличие — это наличие значительного по численности формально свободного сельского населения, официально именовавшегося как «малороссийское казачество» (всего в 1817 г. 13,86 % податного населения, или 496 тыс. чел. мужского пола). При этом в Полтавской губернии казаки составляли 42 % податного населения, в Черниговской — 30 %, Екатеринославской — 16,3 %, Херсонской — 8,3 %. Согласно данным окладной книги за 1834 г. численность «малороссийских казаков» почти не изменилась (498 тыс. чел.), а удельный вес начал снижаться — до 12,35 % податного населения. К 1858 г. почти все малороссийские казаки были превращены в казенных крестьян, что, хотя и не означало значительного изменения их материального положения, однако в социальном отношении было достаточно чувствительным ударом.

Следующее отличие Украины — это удельный вес крепостных крестьян. В целом в начале XIX в. он мало отличался от аналогичного показателя в Беларуси: соответственно 55,6 % и 57 %. Однако в различных регионах Украины этот показатель значительно варьировал. В Правобережьи — от 86,9 % в Киевской губернии до 61,4 % в Подольской, в Левобережьи — 47 %, в Харьковской и Екатеринославской губерниях — 41 % податного населения (по данным за 1817 г.). К 1834 г. между Украиной и Беларусью появились уже заметные различия. Удельный вес крепостных крестьян в структуре податного населения составил соответственно 56,85 % и 64,8 %. При этом значительное сокращение удельного веса крепостных крестьян произошло в Киевской и Волынской губерниях (до 73 % от иодатного населения) [161]. К 1858 г. численность крепостного населения в Украине сократилась еще больше — до 44,24 %, в том числе в Правобережьи — в среднем до 58 % , Левобережьи — до 37 %, в Харьковской и Херсонской губерниях до 30 и 31 % соответственно [83, с. 94]. К этому необходимо добавить, что в Левобережьи крепостное право было утверждено лишь в конце XVIII в.

Показателем социальной мобильности, как уже говорилось выше, может считаться наличие крестьян в структуре городского населения. По этому критерию Украина также значительно отличалась. И если в Волынской (6,23 %) и Подольской (1,6 %) положение мало чем отличалось от Беларуси, то в губерниях Левобережья и Слобожанщины ситуация была принципиально другой.

В городах Полтавской губернии крестьяне составили 31,4 % населения, Черниговской — 23,1 %, Харьковской — 56,5 %, Екате-ринославской — 19,2 %.

Таким образом, по ряду чрезвычайно существенных показателей этносоциальной и конфессиональной структуры населения ситуация в Украине, и особенно в Левобережьи, в значительно большей степени благоприятствовала зарождению национальной консолидации. Именно с этой точки зрения необходимо рассматривать социальную роль «памяти о Гетманщине». Не как наличие общего мифа, а как памяти о реальной ситуации, изменение которой привело к значительному ухудшению положения многочисленных групп населения — крестьян и казаков.

Другим, а, возможно и более значимым на этом этапе, фактором стало наличие университетских центров (в Харькове с 1805 г. и Киеве с 1845 г.). Их существование создавало необходимую среду для формирования национальной идеологии. Не менее важно и то, что в совокупности с особенностями этносоциальной структуры наличие университетов обеспечило куда большие возможности для социальной мобильности личностей, непосредственно связанных с народной культурой. В данном случае достаточно показательно, что социальное происхождение П. Кулиша (из семьи вольных крестьян) и Н. Костомарова (сына русского помещика и украинки-крепостной) не стало преградой их академической карьере [38, с. 36]. Более того, все это вместе взятое обеспечило наличие ситуации, позволившей не только раскрыться таланту Т. Шевченко, но и стать социально значимым явлением. В то же время отсутствие таких условий в Беларуси с наглядностью проявилось в судьбе П. Багрыма.

Отсутствие сопоставимых статистических данных по Западной Украине не позволяет с достаточной степенью надежности сопоставлять ее с ситуацией в Беларуси. Во многом она была схожей, хотя удельный вес польского населения был значительно выше. На протяжении всего XIX в. украинцы составляли 65 % населения региона, поляки — 20 %, евреи — 10 %. Такую картину представляет Я. Грицак со ссылкой на украинских и американских исследователей [38, с. 22]. Так же как и белорусы, украинцы в основном были сельскими жителями и крестьянами. При этом успехи национального движения объясняются наличием униатской церкви, предохранявшей украинцев от ассимиляции и обеспечивавшей хотя бы минимальные условия для социальной мобильности. В этой связи уместно еще раз остановиться на утверждении Р. Радзика о том, что именно ликвидация униатства в Беларуси фатальным образом затормозила развитие националь-

ной консолидации. На наш взгляд, дело не только в самом униатстве, в том месте, которое оно занимало в системе социальных и политических отношений в Галиции и Австрийской империи в целом. Речь идет, в том числе, о политике Марии-Терезии по отношению к униатам, включая уравнение их прав с католиками, развитие униатского образования. К этому необходимо добавить и тот факт, что благодаря реформам Иосифа II крестьяне стали лично независимыми от помещиков. А личная свобода крестьянства является одним из необходимых факторов развития национального движения. Именно этим следует объяснить то, что сохранение униатской церкви в Правобережной Украине в первой половине XIX в. не дало сколько-нибудь сопоставимых с Галицией результатов. Более того, этот регион в национальном отношении вообще оставался пассивным.

В целом же важнейшей причиной, тормозившей развитие украинского национального движения, стала модернизационная отсталость — исключительно низкий уровень охвата населения системой образования. По данным за 1856 г. доля учащихся в структуре населения в Волынской губернии составляла 0,23 %, в Подольской — 0,25 %, Полтавской — 0,44 %, Киевской — 0,5 %, Черниговской — 0,54 %, Екатеринославской — 0,92 %, в то время как в Лифляндской губернии — 4,62 % [151].

Развитие национального движения не оказало и не могло оказать существенного воздействия на состояние этнического самосознания не только на массовом уровне, но даже и на уровне относительно образованной части общества — священников. Материалы «Приходских списков» по Правобережью зафиксировали едва ли не полный набор этнонимов «Повести временных лет», в том числе полян (108 504 чел.), бужан (75 377 чел.), дулебов (12 904 чел.), древлян (196 900 чел.), хорват (17 228 чел.), тиверцев и угличей (8398 чел.). Не менее парадоксально и то, что численность поляков (466 685 чел.) превысила численность католиков (443 991 чел.). При этом к полякам было причислено 38 546 православных [88].

Литовцы

Развитие литовского национального движения также опережало белорусское, хотя и оно находилось на латентной стадии развития. В первой половине XIX в. появилось достаточно большое количество публикаций на литовском языке. Среди них едва

ли не наибольшее значение имела публикация в 1818 г. поэмы К. Донелайтиса «Поры года», ставшей вдохновляющим примером возможности литературной обработки литовского языка. Л. Реза, осуществивший публикацию поэмы К. Донелайтиса, издал в 1825 г. первый сборник литовских песен — дайн. Собиранием и публикацией литовского фольклора занимался и Л. Луцевич, считающийся первым этнографом Литвы [375, с. 214]. Большое значение имела деятельность ковенского епископа Й. Гедройца, способствовавшего формированию группы литераторов, происходивших главным образом из низших слоев жемайтийской шляхты. Именно в этом кругу сформировались первые элементы этнолингвистически детерминированной идеи литовской нации [398, с. 319]. Подобную роль позже сыграл другой ковенский епископ М. Валанчюс, хотя истинные цели и мотивы его деятельности определить достаточно сложно [398, с. 321]. Значительную популярность в это время приобрело творчество А. Страздаса, Д. Пошки, С. Станевичюса. Особо необходимо отметить издательскую деятельность В. Ивинскиса, опубликовавшего в 1846—1864 гг. 17 календарей, предназначенных для массового читателя [375, с. 213].

В отличие от Украины в Литве в значительно меньшей степени развивалась национально ориентированная историография на литовском языке. Она была представлена почти исключительно работами Ш. Даукантаса, кстати, ученика М. Бобровского и И. Даниловича. Эта особенность не случайна. Дело в том, что польскоязычные публикации по истории Литвы и Великого княжества Литовского, включая работы И. Даниловича, Ю. Крашевского, Т. Нарбута и многих других, как бы они не были связаны с историей Беларуси, в первую очередь, объективно «работали» на формирование литовского национального самосознания. Отметим, что, например, фундаментальный труд «Картина Литвы с точки зрения ее цивилизации с древнейших времен до конца XVIII века» (1844), автора которого И. Ярошевича нередко причисляют к белорусским «возрожденцам», на самом деле посвящен почти исключительно этнической Литве. Одного его было вполне достаточно для формирования позитивно окрашенного национального исторического мифа. Подобное значение, если не большее, имела романтическая литература и, в первую очередь, творчество А. Мицкевича.

Этносоциальная ситуация в Литве отличалась от белорусской по ряду параметров. Во-первых, это касается социальной структу-

ры. Ее специфической особенностью в конце XVIII — первой половине XIX в. была чрезвычайно значительная по численности группа свободного населения. Согласно данным 5-й ревизии в Ковенской и «литовской» части Виленской губернии общая численность его составляла свыше 100 тыс. чел., а удельный вес — 22 % от всего населения. Для сравнения на территории «белорусских» уездов Гродненской и Виленской губерний подобная категория населения насчитывала всего лишь около 9 тыс. чел., или 3 % от всего населения. При этом необходимо отметить, что, например, в Могилевской губернии эта категория была практически не представлена. На протяжении первой половины XIX в. численность свободного населения в Литве неуклонно снижалась. По данным 7-й ревизии оно составило 14,4 %, 8-й — 12,8 %, 9-й — 7,6 % и 10-й всего лишь 5,6 % населения [232, с. 77]. При этом свободное население переводили как в состояние казенных крестьян, так и крепостных. Характерен в данном случае пример известного историка и либерала М. Балиньского. С одной стороны, он посвятил ряд публикаций в «Dziennike Wilenskim» примерам прогресса в Великобритании как образца для подражании. Однако г»то мс п<> мешало ему перевести в состояние крепостных вольных людей своего собственного имения [232, с. 68—70]. В любом случае, положение вольного населения в Литве значительно ухудшилось. Это способствовало усугублению классово-этнического антагонизма, сыгравшего впоследствии существенную роль в развитии литовского национального движения.

Следующее различие касается изменения численности крепостных крестьян. В Литве и Беларуси в начале XIX в. удельный вес был примерно одинаков — соответственно 53,4 % и 57 % податного населения (1817 г.). Однако уже к 1834 г. численность крепостного населения в Литве уже сократилась до 49,6 % податного (46,7 % от всего населения), а в Беларуси возросла до 64,8 % [161]. По данным 10-й ревизии в Ковенской губернии крепостные составляли лишь 36,9 % населения [83, с. 94].

Не менее важно и то, что значительная группа литовцев (более 253 тыс.) проживала в Сувалкской губернии, входившей в состав Царства Польского [168]. По данным А. Риттиха литовцы составляли здесь 76,9 % населения, евреи — 12,8 %, немцы — 5,61 %, поляки — 3,94 %, русские (староверы) — 0,64 %. Характерно, что численность протестантов (23 047 чел.) несколько превосходила численность немцев (18 522 чел.), что позволяет предположить, что протестантизм был распространен среди небольшой

части литовцев [168]. Личная зависимость крестьян здесь была ликвидирована еще в 1807 г. Неслучайно, что именно здесь отмечен один из наиболее ранних случаев участия в национальном движении крестьян, в частности М. Акелайтиса, издавшего в 1857 г. литовский букварь [375, с. 213]. Интересно, что по сведениям С. Александровича, М. Акелайтис планировал создание народного издательства для публикации литературы не только на литовском, но и белорусском языке, в том числе написанной В. Дуниным-Марцинкевичем и В. Коротынским [2, с. 21].

Наконец, большое значение имело и то, что многочисленная группа литовцев (в начале 30-х гг. их было около 200 тыс. чел., а через десять лет уже 253 тыс. чел.) проживала на территории Восточной Пруссии [58, с. 183]. Значительную часть их составляли протестанты, в том числе основатель новой литовской литературы К. Донелайтис. Местные условия давали больше возможностей для публикации литовских изданий. Однако переоценивать либеральность политического режима здесь не стоит. Литовцы в Восточной Пруссии подвергались интенсивной германизации.

Что касается этнической ситуации на литовских землях, то, согласно подсчетам М. Лебедкина в Ковенской губернии литовцы составляли 728 474 чел. (в том числе 307 686 литовцев и 420 788 жмудинов), или 80,4 % всего населения, евреи — 101 337 чел., или 11,1 %, немцы — 40 309 чел., или 4,7 %, поляки — 25 189 чел., или 2,78 % . Численность остальных групп населения была незначительна. Русские составляли 0,5 % населения, белорусы — 0,17 %, украинцы — 0,05 %, латыши — 0,27 %, татары — 0,04 % [88, с. 144]. По тем же данным в «литовской» части Виленской губернии был 256 261 литовец (в том числе значительная часть белорусов-«литвинов»), 56 790 поляков и 12 669 белорусов. Общая численность литовцев в Ковенской, Виленской-и_ Сувалкской губерниях на конец 50-х гг. не могла превышать 1238 тыс. чел., а вместе с Восточной Пруссией, по видимому, не более 1,5 млн чел.

Разделение этнических литовских земель фактически на три егиона, существенно различавшихся по характеру социально-политического устройства, не оказывало однозначно позитивного или негативного влияния на развитие национальной консолидации. К числу наиболее значимо тормозивших ее развитие факторов необходимо отнести исключительно слабое развитие горизонтальной социальной мобильности. Показательно, что удельный вес крестьян в городах Ковенской губернии — всего 0,6 % городского населения в 1858 г. был наименьшим среди всего рассматриваемого нами региона [208].

Латыши

Первые признаки формирования латышского национального сознания обозначились в начале XIX в. К числу их проявления необходимо отнести поэтическое творчество И. Хертманиса. В 1824 г. было основано Латышское литературное общество, а в 1830-х гг. началось издание еженедельной газеты «Latviesu avizes» на латышском языке. За всеми этими событиями стояла материальная поддержка и непосредственная организационная деятельность немецких патронов. Однако значение, например газеты, было куда большим, чем этого хотели издатели. Главное, что благодаря ей была решена проблема пригодности латышского языка для массовой коммуникации [378, с. 215]. Латышские писатели той поры придерживались точки зрения, что восходящая социальная мобильность неизбежно должна означать германизацию.

Представители следующего поколения латышских активистов, в большей части крестьяне; по происхождению, ипиротип, считали, что не немецкий, а латышский язык может и должен обеспечить кратчайший путь к образованию. В 1856 г. была основана собственно латышская газета «Majas viesis». Ведущими фигурами национального движения стали К. Вальдемарс, собиратель и издатель латышских дайн К. Бароне, Ю. Алунус. В начале 60-х гг. было констатировано, что «латыши пробудились», однако это касалось лишь части интеллигенции, а не народа в целом.

Значительным препятствием на пути национальной консолидации стало наличие четко очерченных регионов, население которых отличалось не только особенностями традиционной культуры и языка, но, что самое главное, достаточно отчетливо проявлявшимся самосознанием. К этому необходимо добавить достаточную сложность конфессиональной структуры латышей. По данным А. Риттиха, в 60-х гг. в Курляндии и «латышской» части Лифляндской губернии 90,7 % латышей составляли лютеране, 3,5 % — католики и 5,7 % — православные [167]. Если к этому добавить около 150 тыс. латышей-католиков, проживавших в так называемых «инфлянтских» уездах Витебской губернии (Динабургском, Люцинском и Режицком), то доля католиков среди латышей составит почти 18 %. Таким образом, латыши были более поликонфессиональны, чем, например, украинцы и белорусы. Особого внимания заслуживает довольно значительная численность латышей-православных — около 50 тыс. чел. Их появление

было результатом спонтанного движения, охватившего в 40—50-х гг. ряд уездов Лифляндии. Поводом его стали распространенные среди крестьян наивные представления, что выраженная таким образом лояльность поможет им получить землю при посредстве русских властей [378, с. 23].

По данным, обобщенным А. Риттихом, на территории «латышской» Лифляндии и Курляндии латыши насчитывали 855 тыс. чел., или 79,5 % населения, немцы — 101 тыс. чел., или 9,4 %, евреи — 39 тыс. чел., или 3,7 %, русские — 34 тыс. чел., или 3,1 %, эстонцы — 14 тыс. чел., или 1,3 %, поляки — 13 тыс. чел., или 1,2 %, литовцы 12 тыс. чел., или 1,1 %, белорусы — 4 тыс. чел., или 0,38 % [167].

Вместе с тем ряд факторов содействовал развитию национальной консолидации латышей. Среди них едва ли не наибольшее значение имела ликвидация личной зависимости крестьян в Лифляндской и Курляндской губерниях в 1816—1819 гг. и обретение крестьянами прав на владение землей в 50-х — начале 60-х гг. [378, с. 5]. Одним из результатов этого стала достаточно заметная горизонтальная мобильность: в 1858 г. в городах Лифляндии крестьяне составляли уже 15,7 % населения. При этом в 60-х гг. в Миттаве латыши составляли 22 % населения, а в Риге — почти четверть жителей [401, с. 128].

Эстонцы

Вплоть до середины XIX в. эстонцы, среди которых подавляющее большинство составляли крестьяне, называли себя «maarahvas», что было практически полным эквивалентом белорусского «тутэйшыя». Немцев же обозначали собирательным «saks», при этом к ним относили всех не крестьян, а также тех эстонцев, которые умели писать и читать [380, с. 292]. Все это было следствием того, что, также как в Латвии, переход из крестьянского в другие сословия означал неизбежную германизацию.

Вместе с тем уже в 20-е гг. эстонцы-студенты Дерптского университета перестали скрывать свое происхождение и начали признавать его публично. В 1838 г. врач, преподаватель эстонского языка в университете Ф. Фельман основал эстонское научное общество. Его целью было собирание фольклора и издание эстон-

ской дидактической литературы. Среди наиболее значимых результатов — публикация Ф. Крейцвальдом эпоса «Калевипоег» (1857—1861 гг.), ставшего одним из краеугольных камней эстонского национального самосознания. **В 1856** г. были основаны две эстонские газеты. Характерно, что при этом даже лидеры эстонского движения, например, Ф. Фельман, не видели в своей активности собственно национального содержания, считали, что формирование самостоятельной эстонской нации не имеет перспектив, а германизация неизбежна **[380,** с. 295].

Возникновению эстонского движения во многом способствовала этносоциальная ситуация, которая значительно отличалась от всех остальных регионов. Эстонцы составляли абсолютное большинство населения — 94,4 % от общего числа 750 тыс. чел. и были почти исключительно крестьянами **[167].** Немцы составляли всего лишь 2,5 % населения. Экономически доминирующий класс землевладельцев, фактически состоящий из одних немцев, был исключительно малочисленным (в Эстляндской губернии в 1858 г. — 1,3 % населения). Отличительная особенность Эстонии — почти полное отсутствие евреев — всего около 0,1%. Среди остальных этнических групп следует отметить русских (2,6 %), поляков (0,1 %). Таким образом, предельная простота этносоциальной структуры, фактическая тождественность этнической и социальной принадлежности позволяла наилучшим образом отразить конфликт социальных интересов в национальной форме. До отмены личной крепостной зависимости помещичьи крестьяне составляли 78 % податного населения, казенные — **13,2** %, находившиеся в церковной собственности («пасторские») — 1,4 %, вольные — **3,3** %. Иными словами, ситуация была во многом схожей с белорусской конца 50-х гг. Отличие составлял достаточно высокий уровень горизонтальной мобильности: к 1858 г. крестьяне составляли уже 10,25 % городского населения Эстонии. Добавим и относительно высокий уровень развития системы образования. В 1856 г. в Эстляндской губернии учащиеся составляли 3,26 % населения, что примерно в **10** раз превосходило аналогичный показатель Минской губернии. Особенностью конфессиональной структуры являлось то, что к концу **60-х** гг. свыше 83 тыс. эстонцев (11,8 % всех эстонцев) были православными. Возникновение этой группы было вызвано теми же причинами и протекало при тех же обстоятельствах, что и среди латышей.

Словаки

Словаки не случайно выбраны из ряда народов центральной части Центрально-Восточной Европы в качестве объекта сравнения. Их этническая судьба во многом напоминает белорусскую. После гибели Великоморавского государства, в X—XI вв. словацкие этнические земли вошли в состав Венгрии и впоследствии не обладали какой-либо формой территориальной автономии. Это привело к мадьяризации социальной элиты, особенно в XVI в., когда в Словакии укрылось от турецкого нашествия значительное количество венгерских дворян.

Стартовые условия белорусского и словацкого движения, тем не менее, значительно отличались. Это касается и политической и социальной ситуации. Как уже отмечалось выше (в разделе об украинцах Восточной Галиции), благодаря реформам Марии-Терезии и Иосифа II модернизационные процессы в Словакии развивались значительно быстрее, чем в Беларуси. Это касается и личной свободы крестьян, и развития системы внесословного образования. Последнее неизбежно ставило вопрос о языке преподавания и предусматривало создание массовой социальной группы — учителей, способных этот вопрос поставить. Особенности образовательной реформы закрепляли тесную связь системы образования и церкви, что превращало священников в главную движущую силу национального движения в эпоху его становления. К этому необходимо добавить, что уже в конце XVIII в. около 12 % населения проживало в городах. Городское население было чрезвычайно пестрым в этническом отношении, однако в Словакии, в отличие от Беларуси, доля еврейского населения в городах была незначительной. Характерной особенностью социальной структуры (подобной на белорусскую) стало наличие многочисленной прослойки безземельной, или как ее называли «босоногой» шляхты, мало чем отличавшейся от крестьян, но пользовавшейся личной свободой и сословными привилегиями [332, с. 38]. Другая схожая черта — конфессиональное разделение, часть словаков (до 25 %) стала протестантами в ходе гуситской реформации, остальные были католиками.

Ассимиляция социальной элиты, также как в Беларуси, не была окончательной. Значительная часть ее сохраняла региональное сознание. При этом достаточно рано, уже в первой половине XVIII в., ее представители, например Ян Балтазар Магин, выдвигали идею политического равноправия словаков и венгров в рамках венгерской политической нации [370, с. 134]. Уже в это время появляется очерк словацкой грамматики Даниела Крмана [370, с. 72]. А в начале 60-х гг. Адам Коллар обратился с призывом к словакам не быть безразличными к своей национальности и языку [370, с. 135]. В целом словацкое движение возникло значительно раньше и развивалось значительно более интенсивно, чем белорусское. Так, в 1792 г. было основано Словацкое научное общество. В его деятельности в той или иной степени принимало участие свыше 240 чел., по большей части священники (77 % участников), в том числе протестантские священники составили 33 %, а католические — 44 % всех активистов [358, с. 101]. Конфессиональные различия чрезвычайно сильно повлияли на развитие национального движения. Среди протестантов со времен реформации в качестве литературного закрепился чешский язык. В 1787 г. католический священник А. Бернолак осуществил кодификацию собственно словацкого языка на основе западнословацкого диалекта. Этот язык позднее под названием «бернолаковщина» и получил признание среди словаков-католиков, главным образом священников [200, с. 199]. В 20—30-х гг. XIX в. Ян Коллар и Павел Шафарик (дети протестантских священников) попытались создать единый чешско-словацкий язык для обоих народов [332, с. 45]. «По сути это была довольно искусственная литературно-письменная формация, полученная в результате целенаправленной модификации чешского языка в сторону его сближения с народно-разговорным словацким языком ...» [200, с. 198]. При этом для Я. Коллара лично главным было не столько возрождение словаков, сколько славян в целом. Это лингво-идеологическое противоречие было разрешено Людовитом Штуром, создавшим в 1843—1844 г. новую грамматику словацкого языка. На ее основе в 1845 г. стала издаваться первая словацкая газета «Slovenskje narodnje novmi», характерно при этом, что выпуск первого номера отмечался в Братиславе и ряде других городов как праздник [200, с. 201]. Показателем достаточно высокого уровня развития словацкого национального движения стали события 1848 г., когда не только впервые была сформулирована национальная политическая программа, но были созданы национальные повстанческие формирования и формально провозглашена независимость Словакии [370, с. 231]. В 1861 г. активистам словацкого движения удалось собрать представительный национальный съезд (до 3 тыс. участников), потребовавший автономии в

составе единого венгерского государства. Однако ни в первом, ни во втором случае политические устремления национальных лидеров практически не нашли сколько-нибудь массовой поддержки.

* * *

В первой половине XIX в. народы Центрально-Восточной Европы вступили на путь национальной консолидации. Хотя нигде эти процессы не получили массовой поддержки, диапазон их манифестаций был чрезвычайно велик: от собирания фольклора и первых опытов литературной обработки народных диалектов до формулирования национально-политических программ. Сравнивать их интенсивность не представляется вполне корректным. Только на первый взгляд уровни развития белорусского и эстонского движений, или украинского и словацкого были одинаковы. Все дело в том, что артикуляция этничности в каждом отдельном случае была вызвана достаточно случайным воздействием разнородных факторов. Так, эстонское движение имело куда больше шансов на развитие, чем литовское или белорусское, но реализованы они не были. Степень воздействия политического фактора была ограничена по той простой причине, что, вследствие низкого уровня модернизации, ни политические движения, ни государства не имели эффективных средств воздействия на массовое сознание. Куда большее значение имело лишенное какой-либо закономерности наличие попросту талантливых личностей в сочетании с хотя бы минимальной возможностью восходящей социальной мобильности.

ГЛАВА 4
ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ (1860—1890-е гг.). СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

В отличие от предыдущего периода, когда темпы развития национальных процессов у различных народов восточной части Центрально-Восточной Европы во многом определялись случайным набором детерминант, во второй половине XIX в. ситуация становится более определенной. На первое место выходят значение уровня модернизации и воздействие политического фактора, которые заслуживают детального анализа.

Под модернизацией, применительно к изучаемой эпохе, понимается процесс перехода от традиционного к индустриальному (модерному, современному) обществу. Его интенсивность отражает ряд индикаторов, включая экономическое развитие, распространение грамотности, горизонтальную и вертикальную социальную мобильность и т. д. На наш взгляд, именно этот фактор в наибольшей степени обусловил специфику этнической истории Беларуси второй половины XIX — начала XX в. Важнейшую роль сыграл уровень социально-экономического развития. Последнее время, в эпоху господства постмодернистского дискурса, такие утверждения, почти что в марксистском духе, воспринимаются едва ли как что-либо не совсем приличное. Не случайно в монографии Р. Радзика такой фактор как предмет анализа вообще отсутствует. Наше внимание к этим сюжетам не является результатом полученного в прошлом марксистского, в своей основе, образования, ни стремлением каким-то образом реабилитировать эту методологию. Учет социально-экономических факторов является составной частью модернистского подхода к исследованию генезиса наций и национализма. Но главное даже не в этом. Главное, что этот фактор, в принципе, «срабатывает», что будет продемонстрировано ниже. Его анализ позволяет протестировать эпистемологическую ценность не только модернистского, но и других подходов к исследованию интересующей нас проблемы: почему трансформация народов в национальные общности происходила с различной интенсивностью и различными результатами.

Экономическое развитие

Главное, что нас интересует, не социально-экономическое развитие Беларуси как таковое, а его относительный уровень. Как ни парадоксально, несмотря на то, что именно эти вопросы традиционно получали наиболее детализированное освещение в советской историографии истории Беларуси, они так и не были решены. Естественно, что практически все исследователи в той или иной степени отмечали отставание Беларуси от некого общероссийского уровня. Историографический анализ этих оценок сам по себе был бы очень интересен. Не вдаваясь в подробности, хотелось бы отметить колебание, если не шараханье позиций в диапазоне от представления Беларуси в виде отсталой окраины Российской империи (что позволяло впечатляюще демонстрировать достижения по сравнению с пресловутым 1913 г.) до эйфории от ударных темпов индустриального развития в 1860—1890-х гг., превосходивших, якобы, «ведущие страны Западной Европы и США» [21, с. 134] (что позволяло успешно опровергать «советологические» инсинуации об отсутствии предпосылок и, следовательно, об экспорте в Беларусь социалистической революции). Вместе с тем вопрос об уровне развития Беларуси по сравнению с другими регионами европейской части России даже не был поставлен. Не лучше обстоит дело и с оценками внутри регионального развития, над которыми до сих пор довлеют, как не подлежащие никакому обсуждению, положения раннего В. И. Ленина о преобладании капитализма на западе Беларуси и о феодально-крепостнических пережитках на востоке.

Предлагаемый анализ уровня социально-экономического развития Беларуси основан на одном, но чрезвычайно информативном источнике — материалах «Торговли и промышленности европейской России по районам», подробная критика которого содержится во введении. Вопрос об использовании других источников по экономической истории, конечно, уместен, но в этом случае их анализ потребовал бы отдельного исследования. «Торговля и промышленность...» достаточно репрезентативна и едва ли другие источники позволили бы представить существенно иную картину. Однако, что наиболее ценно, данные «Торговли и промышленности...» почти что синхронны базовому источнику информации по этническому, социальному, конфессиональному составу населения, его образовательному уровню и т. д. — переписи 1897 г., что позволяет составить целостную картину развития модернизационных процессов в восточной части Центрально-Восточной Европы.

Напомним, что данные «Торговли и промышленности...» содержат информацию о торгово-промышленном обороте в границах определенных регионов. Эти данные были пересчитаны таким образом, чтобы в территориальном отношении они приблизительно соответствовали современным территориям государств восточной части Центрально-Восточной Европы (табл. 5).

Таблица 5

Торгово-промышленный оборот на душу населения

Территория	Годовой оборот на душу населения, руб.
Эстония	85,54
Латвия	204,87
Литва	39,07
Беларусь	25,79
Украина (Российская часть)	70,26

Приведенные данные не идентичны современным экономическим показателям, например стоимости валового национального продукта на душу населения. Составители «Торговли и промышленности...» характеризовали его как показатель потребительской силы местности. Лучше его характеризовать как индекс деловой активности, характеризующий уровень развития товарно-денежных отношений и, следовательно, модернизации. Низкие (точнее самые низкие) показатели Беларуси не могут не удивлять, тем более что разница с лидером той эпохи — Латвией, кратна восьми. Разница с наиболее развитым регионом европейской России — Московской промышленной полосой была еще большей: 12 раз, при его показателе 303,2 руб. на душу населения. По мнению составителей «Торговли и промышленности...» Полесская полоса, куда была включена Беларусь (за исключением Гродно и Бреста), Литва и часть Волынского Полесья с показателем 22,3 руб. была самой слабой, в том числе по сравнению с Центральной хлеботорговой полосой России с показателем 37,3 руб. и даже Северной лесной полосой (Архангельская и Олонецкая губернии) с показателем 32,4 руб. Не менее разительны контрасты в сравнении совокупного торгово-промышленного оборота\ который в Беларуси с населением 6,6 млн чел. составлял всего 172 380 тыс. руб., а в одном Рижском экономическом районе с насе-

лением 377 тыс. чел. — 252 967 тыс. руб. Естественно, что автору потребовалось определенное мужество (что придется проявить и читателю), чтобы признать, что Беларусь не просто отставала, а была наименее развитым регионом европейской части Российской империи. Однако вне контекста этих фактов едва ли представляется возможным объяснить и другие модернизационные показатели Беларуси на рубеже XIX—XX вв., равно как и особенности ее этнической истории. На наш взгляд, польская историография и в этом плане дает хорошие примеры адекватного восприятия прошлого. С точки зрения данных «Торговли и промышленности...» Польша, или точнее та ее часть, которую тогда официально именовали «Привислинский край», выглядела не так уж и плохо — 100,6 руб. на душу населения, но А. Хвалба характеризует ситуацию в развитии промышленности следующим образом: «Едва ли не вся промышленность была локализована на территории, составляющей 7 % поверхности Королевства. Однако без этих двух губерний (Варшавской и Петрковской. — 77. *Т.)* промышленность Королевства имела бы такой же уровень, как и в беднейших балканских государствах» [341, с. 366, 367].

Нам не хотелось бы углубляться в причины экономической отсталости Беларуси, что могло бы и должно стать предметом отдельного исследования. Единственно, что можно отметить, с точки зрения данных «Торговли и промышленности...» показатели Беларуси близки аналогичным по Литве и ряду губерний Украины (в Волынской губернии — 26,37 руб. на душу населения, в Подольской — 38,12 руб.), восточной части «Привислинской полосы», населенной преимущественно не поляками (Влодава — 14 руб., Бяла — 17 руб., Соколка — 19 руб. и т. д.). Отсюда напрашивается один предварительный вывод: зона экономической отсталости совпадала с территорией распространения крупного польского землевладения на этнически не польских землях.

Грамотность

Наряду с уровнем экономического развития грамотность является одним из важнейших модернизационных показателей. Представленные ниже сравнительные данные дают информацию об абсолютных показателях грамотности, т. е. об отношении численности грамотных ко всему населению в целом. Такой подход несколько отличается от того, который традиционно принят в де-

мографии, где учитывается соотношение грамотных к населению старше определенного (обычно 9 или 10 лет) возраста, т. е. того, который потенциально может быть грамотным. В связи с этим представленные мной данные, как в этой публикации, так и в более ранних, выглядят заниженными по сравнению с работами других авторов. На это, к стати, обращает внимание и Р. Радзик [379, с. 191]. Вместе с тем опора на абсолютные показатели имеет ряд преимуществ. Она соответствует методике, принятой в публикации материалов переписи 1897 г. А это, в свою очередь, значительно упрощает процедуру обработки и сопоставления ее данных. Исчисленные в абсолютных показателях данные по грамотности среди народов восточной части Центрально-Восточной Европы представлены в табл. 6.

Таблица 6

Грамотность этнических групп восточной части Центрально-Восточной Европы по данным переписи 1897 г.

Этнические группы	Грамотные (ко всей группе), %
Эстонцы	80,00
Латыши	70,93
Литовцы	36,80
Белорусы	13,50
Украинцы	12,93

Уровень грамотности не находился в непосредственной зависимости от уровня экономического развития. Так, у латышей он оказался ниже, чем у эстонцев, у украинцев ниже, чем у белорусов. При том, что уровни экономического развития Беларуси и Литвы были близки, показатели грамотности различались достаточно заметно. Причины различий коренились в региональных и конфессиональных традициях. Очевидно, что принадлежность к протестантизму в наибольшей степени, а к православию — в наименьшей содействовали распространению грамотности, с католической традицией — где-то посредине. Показательно, что среди латышей-протестантов грамотных было 79,86 %, латышей-католиков — только 44,38 % . К этому необходимо добавить, что в Эстляндской, Курляндской и Лифляндской губерниях высокий уровень грамотности во многом был результатом последовательной политики немецкой социальной элиты.

Что же касается католической и православной традиций, то своеобразным маркером был подход к образованию женщин. Наиболее отчетливо это видно на показателях грамотности среди белорусов. Так, данные по четырем губерниям (Минской, Могилевской, Витебской и Гродненской) свидетельствует, что грамотность среди католиков (29,9 %) в 2,6 раза превышала этот показатель среди православных (11,1 %). При этом если грамотность между мужчинами-католиками (33,5 %) и православными (19,5 %) составляла 1,7 раза, то между женщинами- католичками (24,9 %) и православными (3,0 %) — восемь раз (!).

В то же время в Прибалтике грамотность среди женщин была выше, чем среди мужчин. Среди литовцев Ковенской губернии у женщин уровень грамотности составлял 44,08 %, мужчин — 37,79 %. Среди эстонцев Эстляндской губернии грамотность среди женщин составляла 81,57 %, мужчин — 79,89 %, в Курляндской губернии аналогичные показатели среди женщин составляли 81,24 % , мужчин — 78,88 % . Среди латышей Курляндской губернии грамотность среди женщин составляла 79,29 %, среди мужчин — 79,02 %. Отметим, что свою роль в данном случае играла не только принадлежность к определенной конфессии, но и устойчивая регионально-конфессиональная традиция. Именно поэтому грамотность среди эстонок православных (75,04 %) и латышек православных (74,11 %) была достаточно высокой и превышала аналогичные показатели среди мужчин православных (соответственно 70,78 % и 72,84 %).

Женская грамотность, на наш взгляд, стала одним из важнейших факторов, определявших темпы развития национальных процессов. Тендерные аспекты развития национализма еще не достаточно теоретически проанализированы. Сильвия Уолби вслед за Нирой Ювал-Девис и Флоей Антиас подчеркивает, что женщина не только биологически воспроизводит членов этнических сообществ, но играет центральную роль в идеологическом воспроизводстве коллективной идентичности и трансляции культуры [400, с. 236]. Это утверждение, конечно, выглядит слишком общим, однако с ним сложно не согласиться. И отсюда логически напрашивается вывод, что женская грамотность и, следовательно, способность восприятия и готовность к ретрансляции национальной идентичности, является ключевым моментом в ее распространении в условиях Центрально-Восточной Европы.

Социальные ресурсы национальных движений

Материалы переписи 1897 г. позволяют обобщить данные о так называемых лицах с «образованием выше начального». Вследствие малочисленности этой группы населения представлять ее в традиционной форме процентного отношения не имеет смысла. Поэтому предлагается исчисление в количестве на 10 тыс. чел. (табл. 7).

Таблица 7

Лица с «образованием выше начального» у народов восточной части Центрально-Восточной Европы по данным переписи 1897 г.

Этнические группы	Лица с «образованием выше начального»	
	Всего, чел.	На 10 тыс. чел. этнической группы
Эстонцы	3442	38,6
Латыши	6148	**46,6**
Литовцы	2726	17,3
Белорусы	8320	**17,8**
Украинцы	44721	27,2

Эти данные свидетельствуют, что фактор наличия «критической» массы образованных людей не является определяющим. Абсолютная численность этой группы у белорусов превышала численность аналогичной группы у эстонцев и латышей, а относительные показатели были выше, чем у литовцев. Более того, если доля белорусов и украинцев среди всей группы «с образованием выше начального» была примерно одинаковой (18,52 и 18,98 % соответственно), то у литовцев этот показатель был в два раза ниже (9,8 %).

Многие исследователи, например, Дж. Броили, Я. Грицак, Т. Раун, М. Грох, подчеркивают особую роль представителей так*их профессий как юристы, журналисты, литераторы, ученые и преподаватели высших учебных заведений в процессе становления наций. Именно эта категория выступает в качестве генераторов национальных программ и политических активистов. При этом абсолютная численность этой социальной группы принципиального значения не имеет. Материалы переписи 1897 г. позволяют детально проанализировать и эти аспекты (табл. 8). Так, категория, занятая «частной юридической деятельностью», была вынесена в отдельную строку. К отдельной категории были причис-

лены и занятые «наукой, литературой и искусством». Однако в последнем случае критерии отнесения этой категории не совсем понятны, особенно, являлись ли эти занятия единственным источником доходов конкретной личности.

Таблица 8

Лица, занятые частной юридической деятельностью, наукой, литературой и искусством по данным переписи 1897 г.

Этнические группы	Занятые частной юридической деятельностью			Занятые наукой, литературой и искусством		
	Всего, чел.	На **100** тыс. чел. этнической группы	В % к профессиональной группе	Всего, чел.	На 100 тыс. чел. этнической группы	В % к профессиональной группе
Эстонцы	57	**6,4**	37,9*	69	7,7	19,3*
Латыши	98	7,4	36,0**	251	19,0	30,0**
Литовцы	32	2,0	7,7	43	2,7	**5,5**
Белорусы	**60**	**1,2**	9,9	**89**	**1,9**	**9,7**
Украинцы	442	2,7	**17,0**	**467**	2,8	**11,5**

* — на примере Эстляндской губернии.
** — на примере Курляндской губернии.

Отставание белорусов по этим показателям достаточно очевидно. Вместе с тем они мало чем отличаются от литовских. Сравнение с латышами и, особенно, эстонцами свидетельствует о том, что абсолютная численность представителей группы (так называемая «критическая масса») может быть небольшой. И белорусы располагали достаточным социальным ресурсом в этом отношении. В то же время многочисленность украинских юристов и украинцев, занятых в науке, литературе и искусстве, не позволили украинскому движению развиваться с такой же интенсивностью, как эстонскому. Вероятно, что большее значение имел удельный вес представителей этих профессий в структуре коренного населения и их представительство в структуре профессиональной группы. Очевидно, что эти показатели были явно выше у эстонцев и латышей.

Анализ предыдущих профессиональных групп позволяет судить не только о потенциальных ресурсах национальных движений, но об уровне развития восходящей социальной мобильности коренных групп населения. Эти материалы могут быть дополнены и другими данными, например, о занятых «врачебной и санитарной деятельностью» (табл. 9).

Таблица 9

Лица, занятые врачебной и санитарной деятельностью по данным переписи 1897 г.

Этнические группы	Занятые врачебной и санитарной		^чггелыюетыо
	Всего, чел.	**На 100** тыс. чел. этнической группы	В % к профессиональной группе
Эстонцы	**435**	48.9	34,5*
Латыши	**895**	**67,8**	30,6**
Литовцы	**473**	**30,1**	**16,3**
Белорусы	**1175**	24,7	**24,5**
Украинцы	3338	**20,3**	**16,1**

* _ на примере Эстляндской губернии.
** _ на примере Курляндской губернии.

Куда более масштабные данные представляют профессиональные группы священнослужителей и занятых «учебной и воспитательной деятельностью». Именно эти две группы представляли наибольшие шансы для восходящей социальной мобильности для выходцев из крестьянской среды. В ряде случаев они составляли массовый социальный ресурс, социальную группу, из которой рекрутировались рядовые активисты национальных движений. Кроме того, известно, что именно в семьях священников и школьных учителей выросли многие будущие юристы, журналисты, ученые и профессора, ставшие впоследствии лидерами этих движений. Необходимо подчеркнуть, что занятые учебной и воспитательной деятельностью не тождественны собственно учителям. Сюда отнесены, например, и частнопрактикующие воспитатели, гувернеры и т. д. Кроме того, в случаях Беларуси, Литвы и Украины значительную часть занятых в этой сфере составляли преподаватели еврейских школ — хедеров, представлявших, по существу, автономную систему образования. В своих ранних работах автор не включал их в категорию учителей. В связи с этим данные[7], приведенные нами ранее, отличались от подсчетов других авторов, например, сделанных С. Гутиером, на что обратил внимание Р. Радзик [379, с. 143]. На наш взгляд, это не было ошибкой, однако в данном исследовании компаративистский контекст неизбежно вынуждает сопоставлять именно всю профессиональную группу в полном объеме.

Таблица 10

Лица, занятые учебной и воспитательной деятельностью по данным переписи 1897 г.

Этнические группы	Занятые учебной **и** воспитательной деятельностью		
	Всего, чел.	На **100** тыс. чел. этнической группы	рфессиональной группе
Эстонцы	1740	195,6	46,6*
Латыши	1942	147,2	38,7**
Литовцы	684	43,6	15,5
Белорусы	3207	67,4	20,5
Украинцы	9459	57,6	22,5

* — на примере Эстляндской губернии. ** — на примере Курляндской губернии.

Приведенные в табл. 10 данные едва ли нуждаются в существенном комментарии. Значительное отставание показателей у литовцев вполне объяснимо. По уровню развития системы народного образования Виленская и Ковенская губернии занимали одно из последних мест в европейской части России.

Куда сложнее анализировать данные по священнослужителям. Материалы переписи подразделяют всех представителей этой группы на православных священников и священнослужителей других христианских исповеданий (староверы, католики, протестанты). Интересно, что у эстонцев и латышей было достаточно многочисленное православное духовенство (соответственно 66 и 150 чел.), соотносимое с количеством священников лютеран (соответственно 117 и 143 чел.). Вместе с тем в структуре професcинально-конфессиональных групп они были представлены относительно слабо (в пределах 20—30 %), что объясняется доминированием среди православных священников русских, а среди лютеранских — немцев. Последнее во многом связано со сложившимися традициями, когда позиция пастора, как правило, требовала университетского образования и нередко передавалась по наследству. Сломать эту традицию латышам и эстонцам, естественно, было достаточно трудно. Обращает на себя особое внимание многочисленность литовцев среди духовенства других христианских исповеданий (прежде всего католических священников, так как некатолики составляли лишь 1,6 % всех, считавших литовский язык родным) — всего 958 чел. При этом они доминировали в составе группы (55 %), в то время как поляки в ней составляли только 37,5 %. Это обстоятельство во многом объясняет исключительное значение католического духовенства в развитии литовского национального движения. Однако его многочисленность, естественно, была не единственным определяющим фактором. У украинцев и белорусов численность православного духовенства тоже была значительной в абсолютных показателях — соответственно 18 144 и 2363 чел. В структуре своих профессиналь-но-конфессиональных групп украинцы и белорусы были представлены почти на том же уровне как литовцы — 53 % и 47 %, однако роль православного украинского и белорусского духовенства несопоставима с литовским. Обращает на себя внимание достаточно значительное количество белорусов — католических священников — **100** чел., составлявших 21,6 % этой группы. В целом же можно отметить, что у литовцев, белорусов и украинцев было куда больше возможностей стать священниками, чем у эстонцев и латышей.

Одним из показателей восходящей социальной мобильности могут быть показатели представительства коренных групп населения в «администрации, суде и полиции» (табл. 11). Эти данные вынесены в материалах переписи в отдельную строку.

Таблица 11

Лица, занятые в администрации, суде и полиции по данным переписи 1897 г.

Этнические группы	**Занятые в администрации, суде и полиции**		
	Всего, чел.	**На 100 тыс. чел. этнической группы**	**рфессиональной группе**
Эстонцы	**1173**	**131,8**	52,4*
Латыши	**1564**	**118,6**	**45,1****
Литовцы	**1095**	**69,8**	18,7
Белорусы	**3486**	**73,2**	38,7
Украинцы	**12728**	**77,5**	**40,8**

* — на примере Эстляндской губернии. ** — на примере Курляндской губернии.

Хотя наилучшим образом в структуре органов власти были представлены эстонцы и латыши, позиции белорусов и украинцев также были достаточно существенны. Слабое представительство литовцев в этих структурах не может быть объяснено исключительно ограничениями, касающимися католиков. В Литве 24,3 % занятых в этой сфере было представлено поляками. Отметим, что данный показатель является почти исключительно индикатором социальной мобильности. Как социальный ресурс чиновничество не представляло большого значения вследствие особенностей своего положения. Чиновники предельно зависимы от власти и, как правило, заинтересованы в сохранении существующего порядка. В национальное движение они вступают в том случае, когда его перспективы представляются вполне очевидными.

Едва ли не самой проблематичной формой восходящей мобильности для коренного населения было попадание в состав сословной группы купечества (табл. 12).

Таблица 12

Представители купеческого сословия по данным переписи 1897 г.

Этнические группы	Представители купеческого сословия		
	Всего, чел.	На 100 тыс. чел. этнической группы	В % к профессиональной группе
Эстонцы	**156**	17,5	15,5*
Латыши	**865**	65,6	10,4**
Литовцы	67	4,2	1,4
Белорусы	225	4,7	1,9
Украинцы	4434	27,0	7,4

* — на примере Эстляндской губернии. **
— на примере Лифляндской губернии.

Очевидно, что представители ни одной из коренных этнических групп не добились доминирования в этой сословной группе, а положение в ней белорусов и литовцев вообще было ничтожным, что в первую очередь объясняется слабым развитием рыночных отношений, и лишь во вторую — традиционным доминированием в ней евреев. Об этом свидетельствуют данные по украинцам, у которых эта группа была достаточно многочисленна как в абсолютных показателях, так и в структуре самой этнической группы. Добавим, что в Украине евреи составляли только 58,3 % купцов, в Беларуси — 91,5 %, в Литве — 83,1 % . То, что именно развитие рыночных отношений было определяющим, в данном случае свидетельствует многочисленность этой группы у латышей. Соответствие купеческого буржуазии заслуживает отдельного обсуждения. Если предположить, что оно было полным, то роль буржуазии, как это подчеркивает Дж. Броили, не следует преувеличивать. Ее интересы могут совпадать, а могут и не совпадать с интересами национального движения. Во всяком случае в украинском и, особенно, латышском случаях буржуазия сыграла значительную роль. Однако в литовском варианте ее роль была ничтожной. Это еще раз подтверждает правильность позиции Дж. Броили.

Наиболее типичной формой горизонтальной социальной мобильности стало переселение коренных групп населения в города. Материалы переписи 1897 г. позволяют достаточно детально рассмотреть этот вопрос (табл. 13).

Таблица 13

Представительство коренных этнических групп в структуре городского населения по данным переписи 1897 г.

Этнические группы	Население		
	Всего, чел.	В % ко всей этнической группе	В % ко всему городскому населению
Эстонцы	100265	10,4	67,4
Латыши	210230	15,9	38,1
Литовцы	26645	1,7	7,7
Белорусы	107127	2,2	**16,5**
Украинцы	904340	5,5	32,2

Не сложно заметить, что литовцы по всем показателям были наименее урбанизированным народом Центрально-Восточной Европы, значительно уступая по своей доле в структуре городского населения даже белорусам. Уровень урбанизации остальных народов был достаточно низким. Хотя у латышей он был почти в три раза выше, чем у украинцев, все равно подавляющее большинство их оставались сельскими жителями. Обращают на себя внимание показатели эстонцев, которые были единственным народом региона, составлявшим большинство среди городского населения.

Показателем развития горизонтальной социальной мобильности может служить удельный вес представителей крестьянского сословия в городах. Табл. 14 отражает эти показатели по отдельным губерниям Прибалтики, Беларуси и Украины.

Таблица 14

Представители крестьянского сословия в городах по данным переписи 1897 г.

Губернии	Крестьяне		Женщины-крестьянки	
	Всего, чел.	В % к городскому населению	Всего, чел.	В % к городскому населению
Эстляндская	45244	58,7	21192	26,8
Лифляндская	210095	55,1	101565	26,7
Курляндская	77996	50,0	36283	23,3
Ковенская	43211	30,1	13198	9,2
Виленская	50316	25,4	19142	9,6
Гродненская	49862	19,5	13690	5,4
Минская	36568	16,2	12028	5,3
Витебская	46895	21,7	16953	7,8
Могилевская	32064	21,7	12449	8,4
Волынская	53331	22,8	14230	6,0
Подольская	38231	13,9	12122	5,4
Киевская	127483	27,7	49981	10,8
Полтавская	94484	35,1	45401	16,5
Черниговская	69402	33,1	33503	16,0
Харьковская	214089	58,2	100352	27,3
Екатеринославская	94948	39,4	41772	17,3
Европ. Россия	5178219	42,9	2170142	18,0
Польша	627801	29,8	266670	12,3

Включение в таблицу данных по женщинам-крестьянкам, проживавшим в городах, совсем не случайно. Дело в том, что значительную часть крестьян в городах составляли военнослужащие. И только наличие примерно равного количества мужчин и женщин крестьянского сословия свидетельствовало о стабильности этой группы. Удельный вес именно женщин-крестьянок в городах является подлинным индикатором развития горизонтальной социальной мобильности. Очевидно, что лидировали по этим показателям «латышские», «эстонские» и отдельные «украинские» губернии, а «белорусские» с наименьшим показателем в Минской губернии замыкали этот список.

Социально-сословная структура населения

Материалы переписи 1897 г. позволяют проводить сравнительный анализ социально-сословной структуры населения. Естественно, что сословное деление к концу XIX в. далеко не в полной мере отражало реальную социальную структуру, особенно там, где интенсивность развития рыночных, капиталистических отношений была высока, а следовательно, и социальной мобильности. Вместе с тем сословная структура, несмотря на определенную степень своей формальности, накладывала значительный отпечаток на характер развития национальных процессов (табл. 15, 16).

Таблица 15

Социально-сословная структура народов Центрально-Восточной Епропы по данным переписи 1897 г.

Этнические группы	Представители сословий, чел.				
	Дворяне	Духовенство	Купцы	Мещане	Крестьяне
Эстонцы	583	321	**156**	23649	856924
Латыши	1235	**294**	**865**	52919	1265415
Литовцы	40188	548	**67**	61308	1463627
Белорусы	83857	7849	225	272364	4382550
Украинцы	88834	51724	**4434**	935667	15239343

Таблица 16

Социально-сословная структура народов Центрально-Восточной Европы по данным переписи 1897 г.

Этнические группы	Представители сословий, %				
	Дворяне	Духовенство	Купцы	Мещане	Крестьяне
Эстонцы	**0,06**	**0,03**	**0,01**	2,65	**96,30**
Латыши	**0,09**	**0,02**	**0,06**	4,01	**95,96**
Литовцы	2,56	0,03	**0,00**	3,90	**93,30**
Белорусы	1,77	0,17	**0,00**	5,73	**92,14**
Украинцы	0,54	0,31	**0,02**	5,69	**92,80**

Очевидно, что с точки зрения сословной принадлежности все народы восточной части Центрально-Восточной Европы были «крестьянскими», при этом самым крестьянским оказались эстонцы, а наименее — белорусы. Это еще раз свидетельствует о формальности сословного деления в конце XIX в. Обращает на себя внимание высокий удельный вес и, особенно, численность дворянства у литовцев и белорусов. Роль этой группы в развитии национальной консолидации неоднозначна. Как уже отмечалось выше, победа эгалитаристского по своим лозунгам национального движения для дворянства означает весьма чувствительную утрату социального статуса и идентичности в «примордиальном» понимании. Там, где развитие модернизации уже само по себе подорвало его значение, эта ситуация переживается менее остро. В противоположном случае (как, например, в Беларуси) — наоборот. При этом не только ограничивается участие дворянства в национальном движении. Его положение в системе сложившихся социальных отношений значительно ограничивает возможности восходящей социальной мобильности для представителей мещанского и крестьянского сословий и, следовательно, серьезно ограничивает формирование потенциальных социальных ресурсов национальной консолидации.

Сравнительный анализ уровней модернизации народов Центрально-Восточной Европы позволяет сделать несколько предварительных выводов. Латыши и эстонцы значительно опережали все остальные народы региона, впрочем как и всей Российской империи. Литовцы и белорусы — наоборот. При этом по ряду показателей (уровень урбанизированности, социальной мобильности и т. д.) литовцы находились на последнем месте. Вместе с тем от белорусов их отличали несколько более высокий уровень экономического развития и, что наиболее значимо, почти в три раза более высокий средний уровень грамотности, в том числе и несопоставимо более высокий среди женщин. Низкий уровень грамотности среди украинцев контрастировал с остальными, достаточно высокими показателями.

Политический фактор и этнонациональные изменения в Беларуси. Белорусское национальное движение: критические заметки

В 1860—1890-х гг. появляются уже более-менее организованные формы белорусского национального движения. Обычно его начало связывают с деятельностью белорусских народников, издававших нелегальный журнал «Гомон». Однако есть сведения о более ранних попытках создать национальную организацию. В 1868—1870-х гг. в Петербурге была образована организация под названием «Крывицкий вязок». Какие-либо документальные свидетельства ее существования не обнаружены. Однако воспоминания В. Савич-Заблоцкого, одного из ее организаторов, едва ли позволяют усомниться в ее реальности. По его данным численность объединения доходила до 50 чел., преимущественно представителей социальной элиты (графы, князья, сыновья камергеров и генералов). В. Савич-Заблоцкий отмечает, что это была именно этнически белорусская организация, не зависевшая от конфессиональной принадлежности и культурной ориентации ее членов — «ляхов и москалей». Цели «Крывицкого вязка» не выходили за пределы культурно-просветительской активности. Предполагалась масштабная издательская программа, включавшая издание букварей, календарей, пособий по арифметике, евангелий, православных и католических молитвенников, басен Эзопа, литературы по зоологии и гигиене на белорусском языке. Для этих целей была собрана значительная по тем временам сумма — 5000 руб. (по 100 руб. с каждого члена организации). Едва ли организация предполагала какую-либо политическую активность, так как В. Савич-Заблоцкий подчеркивает, что не предусмотрено было даже издание политической или социальной литературы. Вместе с тем члены организации достаточно четко дистанцировали себя как от Польши, так и от России, уделяли большое внимание изучению белорусского языка, начали подготовку словаря. Предусматривалось написание национальной истории, отправной точкой которой, по-видимому, должна была стать история Полоцкого княжества. По свидетельству В. Савич-Заблоцкого, российская администрация первоначально, на стадии этнографических и лингвистических увлечений, не вмешивалась в де-

ятельность организации. Однако, судя по всему, перспектива реализации издательского проекта вызвала более решительные действия. Активности группы попытались придать антипольский характер, в частности католикам было предложено перейти в православие. Отказ членов организации принять эти условия стал поводом ее роспуска, впрочем осуществленного «мягкими» средствами: взятием под надзор, высылкой из столицы, отправкой на другое место службы. Денежные средства были конфискованы и использованы для строительства православных церквей. Еще один штрих к портрету «Крывицкага вязка» — это была молодежная организация: В. Савич-Заблоцкий, которому в 1868 г. было 18 лет, писал, что он сошелся «с молодыми, как и я» [190, с. 314, 315].

Деятельность «Крывицкого вязка» не имела и едва ли могла иметь сколько-нибудь значительные социальные последствия, о чем свидетельствует хотя бы то, что о самом существовании организации не вспоминали ни «Гомоновцы», ни «Нашенивское» поколение белорусских активистов. Вместе с тем члены «Вязка», по крайней мере в лице В. Савич-Заблоцкого, осознавали свою связь с предшествующим поколением белорусских литераторов и политиков, хотя относились не однозначно («не искренний такой Марцинкевич», «Калиновский пан») [190, с. 316]. Преемственность ощущается и в самом использовании этнонима кривичи — традиции отождествления белорусов и кривичей, заложенной по крайней мере еще Я. Чечотом. В какой мере члены организации осознавали себя белорусами и пользовались этим этнонимом, сказать сложно, но В. Савич-Заблоцкий в своих письмах М. Драгоманову, описывая издательскую программу «Вязка», упоминает «белорусские книги», «белорусский словарь», а себя отождествляет с «Русью Белой». Одновременно с этим белорусский язык фигурирует в таких определениях, как «диалект чернолюда», «мужицкий язык», а идентичность членов организации как «руство» («руство свое», «история нашего руства»), видимо, производное от «русин» или «rutherms».

Если в «хлопомании» «Крывицкого вязка» хотя бы номинально ощущается преемственность с традициями пропольски ориентированного политического движения, то активность «гомоновцев» возникла на принципиально иной идеологической основе. Характерен в этом отношении тот факт, что в их публицистике ни разу не упомянуто даже имя К. Калиновского. Российское народничество, будучи национально-социалистическим по сути (особый путь России, основанный на общинных традициях), самой своей формой агитации («хождения в народ») провоцировало артикуляцию этничности. Известно, что в Беларуси пропаганда социалистических идей среди крестьянства лучше всего удавалась тем революционерам-народникам, которые владели белорусским языком **[191,** с. **71].** Народническая идеология повлияла не только на развитие белорусского и украинского, но и эстонского национального движения.

Публицистика белорусских народников представляет собой новый этап формирования национального самосознания. Характерно, что белорусское народничество не было однородным явлением. В нем отчетливо прослеживается как культурно-просветительское, так и радикально-революционное направление. К первому относятся так называемые «Письма Данилы Боровика». Они представляют собой типичный национальный манифест — программное произведение, содержащее представление о белорусах как самостоятельном этносе, основных компонентах его культуры, а также призыв к изучению его с целью создания национальной культуры> «органически согласующейся с требованиями народной жизни» [164, с. 29]. Политическая программа Д. Боровика была ограничена требованием создания славянской федерации «путем мирным без катастроф» **[164,** с. 25].

Умеренной политической программе Д. Боровика было противопоставлено левонародническое требование «Щирого белоруса» придать движению в Беларуси освободительный революционный характер, солидарный с задачами «Народной воли» **[164,** с. **53].** Этому подходу к организации движения, органичному сочетанию национальный и социальных задач были посвящены два номера журнала «Гомон». Его авторы поднялись до теоретического осмысления этих проблем и нашли правильное, в тех исторических условиях, решение. «Мы, белорусы, — писали они, — так как мы должны бороться во имя местных интересов белорусского народа и федеративной автономии страны, мы, революционеры, потому что разделяем программу народной воли и считаем необходимым принять участие в этой борьбе, мы, социалисты, потому что нашей главной целью является экономическое улучшение страны на началах научного социализма» **[164 с. 120].** Заслугой белорусских революционных народников было не только то, что они впервые определенно и конкретно объявили о существовании самостоятельного белорусского этноса и своей принадлежности к

нему, но сформулировали развернутую политическую программу, т. е. достигли достаточно высокого уровня развития национальной идеологии. Характерно также, что они считали возможным добиться социальной и национальной справедливости только в результате свержения самодержавия в союзе со всеми народами России и создания федеративного государства. Р. Радзик, подробно анализируя историю появления и содержания публицистики белорусских народников, отмечает, что опубликована она была в Петербурге и на русском языке. В этом, на наш взгляд, нет ничего удивительного. Петербург сыграл важную роль не только в развитии белорусского, но и многих других национальных движений, например латышского. Этому способствовали относительно более благоприятные политические условия и, что самое главное, наличие студенческой социальной среды, наиболее подходящей для генерирования национальных идей и отсутствовавшей в Беларуси. Что же касается русского языка публицистики, то иноязычие было типичной чертой большого количества национальных движений этой эпохи. А. Плаканс отмечает, что, например, в 1870—1880-х гг. полемика между активистами младо-латышского движения часто велась на русском или немецком языках, а ведущий латышский композитор второй половины XIX в. Й. Витолс по его собственному признанию вообще плохо знал латышский язык [378, с. 224, 233]. К этому необходимо добавить, что белорусские народники довольно хорошо владели белорусским языком, о чем свидетельствуют отдельные фрагменты на страницах журнала «Гомон» [164, с. 114].

Особый интерес, естественно, вызывают личности издателей журнала «Гомон» А. Марченко и X. Ратнера. На наш взгляд, социальное происхождение А. Марченко (из семьи крестьянина-вольноотпущенника) глубоко симптоматично. Трудно сказать, был ли он первым крестьянином-белорусом, обучавшимся в университете, но хорошо известно, что первый латыш, закончивший Дерптский университет, К. Безбардис стал одним из лидеров национального дьижения (его пророссийского течения) [401, с. 130]. Не менее интересно наличие у истоков белорусского политического национализма фигуры еврея X. Ратнера. Его участие, по-видимому, не ограничивалось только организацией нелегальной типографии. Содержание «Гомона» не только отличалось сочувственным отношением к евреям, но подчеркиванием того, что «беднейшая часть еврейства нигде так не сошлась с народом, как в Белоруссии: евреи не только усвоили здесь некоторые народные

обычаи и предрассудки, но даже нередки случаи единодушной борьбы этой части с белорусами же против евреев же богачей и панов ...» [164, с. 111]. Отметим, что участие евреев в национальных движениях народов Центрально-Восточной Европы не является чем-то необычным. Так, например, в конце XIX в., по мере того как украинское движение стало набирать силу, в нем появляются такие евреи-украинофилы, как А. Марголин, И. Гермайзе, М. Гехтер и др. [38, с. 65], несмотря на то, что традиционно взаимоотношения между украинцами и евреями были более конфликтными, чем между белорусами и евреями. Однако, даже несмотря на это обстоятельство, участие X. Ратнера в разработке наиболее раннего из ныне известных документальных свидетельств белорусской национальной идеологии, представляет, на наш взгляд, явление уникальное.

Необходимо также подчеркнуть, что белорусская национальная идеология была создана, судя по всему, уроженцами восточной части Беларуси. Р. Радзик, правда, приводит точку зрения В. Йодко-Наркевича относительно того, что «редакторами его ("Гомона") были молодые поляки» [379, с. 252]. На наш взгляд, содержание «Гомона» едва ли об этом свидетельствует. Впрочем, и сам Р. Радзик отмечает, что подходить к утш'рждоиию Н. Йод ко-Наркевича нужно с осторожностью.

Еще один интересный момент — в публицистике можно встретить многочисленные ссылки на национальные движения других народов как примеры для подражания белорусами. В частности, в послании Д. Боровика примерами «согласия деятельности интеллигенции главным чертам народного характера» приводится русская, украинская, польская, финская культура, а латыши и эстонцы названы «российскими ирландцами» [164, с. 25]. В первом номере «Гомона» необходимость национального пробуждения обосновывается тем, что «проснувшаяся народность не даст себя в обиду и не позволит безнаказанно давить себя сильнейшим, примеры чего в настоящее время мы встречаем повсюду (например, среди славянских народностей Австрии и т. п.)» [164, с. 25].

Группа белорусских народников, объединившаяся вокруг журнала «Гомон», просуществовала относительно недолго, ее пропагандистская деятельность была ориентирована преимущественно на восприятие учащейся молодежи. Поэтому воздействие на формирование национального самосознания было ограниченным. Нельзя не согласиться с Р. Радзиком в том, что белорусские народники «не оставили за собой ни непосредственных преемни-

ков, ни значительных следов в сознании создателей белорускости предреволюционного периода двадцатого века» [370, с. 255]. Более того, достоянием белорусской историографии наследие белорусских народников по существу становится лишь в 1930-х гг.

Важным этапам в развитии национального движения стала обозначившаяся во второй половине 1880 — начале 1890-х гг. активность группы либеральной интеллигенции, связанной с изданием первой неофициальной газеты в Беларуси «Минский листок» (с 1886 г.) и историко-литературных альманахов — «Календарей Северо-Западного края» (1889—1893 гг.). В состав ее входили М. Довнар-Запольский (редактор «Календаря Северо-Западного края» 1889 и 1890 гг.), В. Завитневич, А. Слупский (редактор «Северо-Западного календаря» 1888 и 1892 гг.), Янка Лучина и др. Едва ли группа была каким-либо образом организована, имела четкие цели и задачи. Активность ее в целом соответствовала национальной программе Д. Боровика и была нацелена на популяризацию истории и культуры белорусов и пробуждение, таким образом, белорусской идентичности легальными средствами. Особое значение имели публикации на белорусском языке (кириллическим шрифтом) произведений Янки Лучины, Каруся Каганца, В. Дунина-Марцинкевича и т. д., что повлекло за собой замечания со стороны российской администрации [3, с. 85]. На страницах «Минского листка» впервые была напечатана поэма «Тарас на Парнасе» (1889). Таким образом, устанавливалась, по крайней мере, номинально, преемственность с предыдущими поколениями белорусских литераторов.

Характерен интерес к сведениям об этническом составе населения Беларуси, что выразилось в публикации работы Е. Вольтера «Статистика племенного состава народонаселения Северо-Западного края». Едва ли все эти издания можно в буквальном смысле считать национальными. Большая часть публикаций в них выходила на русском языке и далеко не всегда была посвящена Беларуси. Однако, несмотря на определенную ограниченность их содержания, обусловленную как взглядами составителей и авторов, так и цензурными преградами, по словам Р. Земкевича, именно эти издания «разбудили белорусское национальное движение». Известно, например, что знакомство со стихами Янки Лучины, которые распространялись в рукописях, сыграло главную роль в обращении Якуба Коласа к творчеству на белорусском языке. В 1913 г. в письме С. А. Венгерову он отметил: «Первое белорусское произведение, которое я услыхал, было стихотворение Янки Лучины (Неслуховского). Оно произвело на меня сильное впечатление не своими литературными достоинствами, а тем, что было по-белорусски. Другое обстоятельство, направившее мое сердце на нашу родную белорусскую жизнь , ... небольшая этнографическая заметка о Белоруссии в каком-то журнале» [76, с. 22.]

На наш взгляд, не имеет смысла подробно характеризовать ту роль в распространении национального самосознания, которую сыграло творчество Ф. Богушевича, адресованное широким слоям крестьянства. Предисловие к «Дудке белорусской» стало для белорусского движения классическим национальным манифестом, лозунги которого не утратили актуальности до сих пор. Следует отметить два момента. Во-первых, достаточно большие тиражи его публикаций: каждый из его сборников «Дудка белорусская» и «Смык белорусский» был отпечатан в количестве 3000 экземпляров [3, с. 212, 213]. Во-вторых, сама личность Ф. Богушевича, помимо всего прочего, интересна тем, что он был фактически первым юристом — участником белорусского национального движения. Здесь уместно вспомнить, какую большую роль сыграли представители этой профессиональной группы в развитии национальных движений вообще. И, возможно, то, что именно Ф. Богушевич сформулировал национальную белорусскую идею в наиболее радикальной для того времени форме, не в последнюю очередь связано с его профессиональными занятиями, обеспечивающими определенный уровень независимости от власти.

В отличие от предыдущего периода развития в **1860—1890-х** гг. наметилась определенная преемственность развития, выразившаяся как в содержательном (публикации произведений В. Дунина-Марцинкевича), так и личностном уровне. Известно, например, что отец братьев Луцкевичей — И. Луцкевич был дружен с В. Дуниным-Марцинкевичем и часто гостил в его доме [395, с. 11]. Вместе с тем наиболее важная преемственность — семейная, так и не сформировалась. Показательно в этом отношении, что дочь В. Дунина-Марцинкевича Камила в организованной ею самой школе, по словам А. Левицкого, ни в коей мере не способствовала продолжению традиций отца. «Учили нас там по-русски, по-польски, по-французски, — вспоминал он, — учили разным наукам, но ни истории Беларуси, ни даже белорусского языка мы там даже не слышали» [321, с. 297]. А сын Ф. Богушевича, по определению А. Цвикевича, был «крайним зоологическим польским шовинистом» [243, с. **190].**

В целом же белорусское движение этого периода, лишь с большой долей условности можно отнести к начальной стадии развития фазы «Б» по классификации М. Гроха. Едва ли все его проявления были способны сколько-нибудь существенно повлиять на формирование национальной идентичности белорусов.

Политика российской администрации и «западно-русизм»

Очевидно, что именно политика российской администрации оказывала наибольшее влияние на этнонациональные изменения и торой нолошшы XIX Б. Ее же чаще всего рассматривают в качестве важнейшего фактора, тормозившего формирование белорусской национальной культуры, литературного языка и нации в целом. Многие аспекты, особенно антипольские и антикатолические по направленности мероприятия, уже довольно обстоятельно изучены. Нам бы хотелось акцентировать внимание лишь на отдельных аспектах политики, оказавших значительное влияние на изменение форм массовой идентичности.

Наиболее эффективным ее направлением стала то, которое условно можно было бы назвать «декатолизацией — правоелавизацией». Впечатляет не только практически полная ликвидация католических монастырей (сохранилось только 3), закрытие костелов и каплиц (около 200!) и превращение части их в православные церкви. Не менее, если не более масштабными были усилия по строительству новых православных церквей. На эти цели была направлена значительная часть средств, полученных в результате конфискации имущества повстанцев и контрибуционного сбора. Согласно специально разработанным правилам, вне зависимости от конфессионального состава населения, православная церковь должна была существовать в каждом населенном пункте с количеством жителей более 1,5 тыс. чел. Церковное здание должно было строиться только из долговечных материалов — камня или кирпича [121]. При этом архитектурная стилистика, как в новом строительстве, так и при осуществлении реконструкций, носила отчетливый идеологический характер. Он выразился в использовании так называемого «псевдо- или неорусского» стиля, имитирующего памятники русского зодчества XV—XVII вв. и абсолютно не соответствовавшего традициям православной архитектуры

Беларуси. Результатом стало кардинальное изменение культурного ландшафта, особенно заметное в небольших местечках и селах.

Однако еще более впечатляет сокращение удельного веса католического населения. Если в масштабах всей Беларуси он снизился на первый взгляд незначительно (с 17,9 % до 13,5 %), то на уровне регионов и отдельных уездов изменения были куда более существенными. На востоке этот удельный вес католиков сократился с 4,1 % до 3,0 %, на западе с 35,5 % до 28,6 %, в среднебелорусском регионе с 14,5 % до 9,5 %, в Восточном и Центральном Полесье с 9,2 % до 4,4 % (в два раза !), Западном Полесье с 7,6 % до 5,5 %. Процесс «декатолизации» развивался неравномерно и данные по регионам не отражают всех особенностей. С наибольшим успехом эта политика была реализована в Слуцком (снижение с 24,3 % до 10,5 %), Новогрудском (с 23,4 % до 10,7 %), Слонимском (с 19 % до 10,3 %), Пинском (с 11,8 % до 4,5 %), Пружанском (с 14,2 % до 7,7 %), Мстиславльском (с 5,4 % до 1,3 %), Чериковском (с 3,9 % до 1,1 %). Вместе с тем в уездах с преобладанием католического населения его удельный вес сократился меньше: например в Лидском уезде (с 72,7 % до 62,5 %), в Ошмянском (с 67,6 % до 56,7 %). Процесс «православизации» в равной степени затронул и сельские и городские общины. Так, в городе Новогрудке удельный вес католиков снизился с 21 % до 10 %, в Пинске с 18,7 % до 7,5 %, в Минске с 33 % до 15,1 %, в Волковыске с 43,3 % до 18,7 %. Естественно, что снижение доли католического населения, особенно в городах, происходило не только за счет изменения конфессиональной принадлежности, но в результате опережающих темпов роста численности других конфессий, в том числе иудеев (за счет более высокого уровня естественного прироста), православных (за счет притока мигрантов и увеличения численности войск).

Общее количество католиков, перешедших в православие, оценить достаточно сложно. По приблизительным данным только в 1864 г. в Северо-Западном крае их количество составило 70 тыс. чел. [298, с. 28]. По сведениям, собранным В. Яновской, только в Литовской и Минской епархиях за первые годы после восстания 1863 г. в православие перешло соответственно 30 и 37 тыс. католиков [322, с. 20]. Нередко в православие переходили целыми приходами [322, с. 20, 21]. Характерно, что процесс этот затронул не только сельские общины, но представителей социальной элиты, князей Радзивилла и А. Друцкого-Любецкого [322, с. 20].

В целом же можно сказать, что в результате «православизации» во второй половине XIX в. католическая община Беларуси потеряла до 280 тыс. чел. (разница между реальной и потенциально возможной численностью на 1897 г.). «Православизация» служила выражением лояльности власти и во многих случаях носила конъюнктурный характер. Часто это было просто решением проблемы выживания. В приведенных Р. Радзиком воспоминаниях С. Ковалевской прямо сказано, что это было результатом «желания карьеры, денег, а временами — куска хлеба, в котором отказывали католикам» [379, с. 105]. Нельзя не согласиться с В. Яновской, что «принудительные переходы, переходы в поисках экономических или каких-либо других выгод, хотя и имели массовый характер, но не были стабильными» [322, с. 21]. Это подтверждает и статистика начала XX в., когда происходил, хотя и в меньших масштабах, процесс «рекатолизации». Самое главное, на наш взгляд, формирование ситуации нестабильности, точнее, пластичности идентичности, в том числе таких ее базовых (в условиях до- или преднационального общества) характеристик, как конфессиональная идентичность. Возможность ее изменения, в том числе и многократного, в зависимости от политической ситуации, девальвировала ее ценность. В равной степени это стало относиться и к идентичности этнической, а в последствии, и национальной.

Политика «православизации», несмотря на все свои масштабы, не предполагала полной ликвидации католической церкви. Борьба с ее влиянием включала в себя так называемую политику «разделения католицизма от полонизма». Хотя она и получила обстоятельное освещение в работах В. Григорьевой (Яновской) и А. Смоленчука [37, 197], собственно белорусский акцент нуждается в дополнительном объяснении.

Уже в 1868 г., в период, когда «поляк, не пропагандирующий против русской империи и не озлобленный считался потенциальным союзником администрации» [193, с. 64], многие уездные посредники в Беларуси (например в Лепеле, Новогрудке) получили присланные из-за границы послания, отпечатанные типографским способом, в которых преданным престолу подданным вменялось в обязанность бороться с «польской язвой» с тем, чтобы «вырвать из рук поляков русских католиков». «Везде есть различия племенные, — отмечалось в письмах, — но различия по вероисповеданиям исчезли вместе со всеми средневековыми идеями и институтами» [122]. Годом позже правительство издало разъяснение местным

властям о том, что поляками необходимо считать не католиков вообще, а только поляков и тех местных уроженцев, которые усвоили себе польскую национальность [193, с. 65]. Еще через год появился циркуляр МВД, разрешавший ранее запрещенное использование русского языка в католических литургиях [123, л. 1]. А в 1876 г. последовало новое распоряжение, требующее энергичных мер со стороны местной администрации для введения католического богослужения «на родном языке верующих» [114, л. 1]. Для белорусов под родным подразумевался русский, хотя и не исключалось использование белорусского. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что в местечке Улла Лепельского уезда с 1876 по 1882 г. ксендз Мотус читал проповеди на белорусском языке [123, л. 33]. Существуют свидетельства об использовании белорусского языка с этими же целями в двух парафиях Могилевской губернии [197, с. 68]. Главное в том, что российская администрация давала понять — католики могут быть белорусами и это не только нормально, но и предпочтительно.

А. Смоленчук не без оснований утверждает, что кампания «располячивания костела» своей цели не достигла. Действительно, ни русский, ни белорусский язык в костеле не прижился. Однако, если посмотреть на нее шире, именно так, как она и задумывалась — «разделения полонизма и католицизма», то социальные результаты в статистическом измерении были сопоставимы с масштабами сокращения католического населения. Если на рубеже 1850—1860-х гг. численность поляков оценивалась разными источниками от 264 до 317 тыс. чел. (7,5—9,5 % населения), то к 1897 г. она снизилась до 156 тыс. чел. (2,4 % населения). Формальное объявление католика себя белорусом позволяло ему, хотя бы частично, избежать воздействия дискриминационных положений. Конечно, часто это означало лишь внешнее, чисто конъюнктурное изменение этнонациональных ориентации. Характерна в этом отношении приведенная Л. Горизонтовым характеристика ситуации в восточной Беларуси в середине 1860-х гг. — «большая часть чиновников Могилевской губернии состояла все еще из поляков, межу которыми масса особ, которые считались православными; это были местные уроженцы — "белорусы", как они *начали себя называть ...»* (курсив наш. — *П. Т.)* [33, с. 112]. Ряд источников отмечает значительное снижение социального престижа польского языка. В восточной части Беларуси он быстро выходил из употребления мелкого дворянства. «Польский язык среди них уже исчез, говорят они обыкновенно на белорус -

ском языке. Очень редко можно услышать среди них какую-нибудь до крайности исковерканную польскую фразу» [153, с. 603; 89, с. 28]. Характерно, что примерно подобные взгляды высказывали и польские авторы. Так, например, В. Жуковский отмечал, что «шляхта, осевшая в Белой Руси, по-польски не говорит, ... русифицировалась и безразлично относится ко всему, что относится к польской национальности» [408, с. 4].

Политика давления на поляков/католиков в условиях недосформированности национальной идентичности создавала ситуацию определенного выбора, при этом выбирать можно было не один раз. Фактически для представителей этой группы существовало три основных варианта. Первый — пророссийский, заключавшийся в формуле «белорусы — значит русские». Для католика ее выбор означал возможность более-менее спокойной жизни и избегания дискриминации. Однако с точки зрения отдаленной перспективы такая форма идентичности (русский католик) выглядела внутренне противоречивой и требовала дальнейших шагов в виде смены вероисповедания, что в глазах католической общины выглядело полным ренегатством. Именно поэтому на фоне почти что 670 тыс. католиков, признавших родным языком белорусский, в 1897 г. численность русскоязычных католиков (8 тыс. чел.) и, особенно, польскоязычных православных (1748 чел.) выглядела незначительной. Белорусский национальный вариант, несмотря на внутреннюю органичность, фактически еще не был сформулирован для восприятия на массовом уровне. Пропольский вариант был наиболее опасным, или, по меньшей мере, неудобным. Выбрать его мог тот, кто имел внутренние идейные интенции борьбы с политическим режимом, но в любом обществе количество таких людей всегда ограничено. Поэтому в массе своей на него ориентировались те социальные группы, которые были наименее зависимы в экономическом отношении от российской администрации (крупные земельные собственники), либо те, кто мог рассчитывать на такую поддержку. Именно поэтому численность польского населения настолько сильно сократилась во второй половине XIX в.

С развертыванием относительно массовой системы народного образования российская администрация получила новое мощное средство проведения национальной политики. Только в 1862—1863 гг. в Минской, Гродненской и белорусской части Виленской губерний было открыто 389 народных училищ [77, с. 280]. Русификаторский характер образовательной политики

уже достаточно обстоятельно анализировался [202]. Действительно, обучение не предусматривало преподавание белорусского языка и каких-либо предметов, способствующих формированию национальной идентичности. Однако не будет правомерным сводить роль школы исключительно к этнокультурной ассимиляции. Так, в базовом учебном пособии «Книга для чтения в народных училищах Виленского учебного округа», выдержавшем многочисленные переиздания, существовали разделы о Беларуси, белорусах и т. д. [75]. Их изучение способствовало формированию общебелорусской идентичности. Естественно эта идентичность, строившаяся по принципу «белорусы — значит русские», была далекой от национальной. Но она наслаивалась и постепенно вытесняла ранее существовавшие формы этнического самосознания.

Создание учительских семинарий, призванных обеспечить систему народного образования кадрами лояльных власти преподавателей, при всех своих негативных сторонах создавали определенные условия для существования вертикальной социальной мобильности.

В целом, политика российской администрации может быть охарактеризована как стремление превратить католика в православного или, по меньшей мере, в белоруса. Конечной ее целью было «слияние племенных разновидностей населения и объединение этого населения с населением великорусским» **[116,** л. **49].** Однако реальные ресурсы проведения этой политики, в первую очередь возможность использовать систему образования, были чрезвычайно ограничены вследствие неразвитости последней. Российская администрация, естественно, противодействовала собственно национальным попыткам артикуляции белорускости, в том числе в закреплении белорусского языка в литературе. Именно на это был направлен запрет на издание белорусской литературы латинским шрифтом (1858 г.), избирательно распространявшимся, как в случае с М. Косич, и на издания гражданским (кириллическим) шрифтом. Однако очевидно, что относительно незначительное число публикаций на белорусском языке объясняется в первую очередь не ограничительной политикой российской администрации, а чрезвычайно узким кругом тех, кто реально желал или даже потенциально мог желать их писать и издавать.

Куда большее тормозящее воздействие на процесс формирования белорусской нации оказывали мероприятия российской администрации, преследовавшие иные, нежели непосредственно

национальные, цели. Имеется в виду, например, чрезвычайно жесткое, не имеющее аналогов в большинстве других регионов Центрально-Восточной Европы, ограничение общественной активности, выражавшееся в длительном сохранении фактически чрезвычайного положения, и, что еще более важно, отсрочка реформы самоуправления — введения земств — вплоть до 1912 г. Все это не могло не отразиться на формировании специфического типа «социального капитала», особенностями которого стало слабое развитие традиций и навыков организованной социальной активности.

Подчеркнем еще раз — политика российской администрации не может быть понята однозначно. С одной стороны, она препятствовала формированию и распространению национального движения, с другой — именно она «конструировала» белорусскость, создавала «воображаемую» Белоруссию. И без этого этапа формирования белорусского проекта будущая национальная Беларусь едва ли имела бы шансы на возникновение.

Амбивалентность национальной политики российской администрации рельефно проявляется в феномене «западно-русизма», который хотя и был непосредственно связан, но, все же, не был ей тождественен. Репринтное издание монографии А. Цвикевича, а также ряд других публикаций делают излишним подробное описание этого явления. При этом в отличие от А. Цвикевича, настойчиво и эмоционально демонизировавшего «западно-русов» как важнейших противников белорусского национального возрождения, в ряде относительно недавних публикаций, авторов которых едва ли можно заподозрить в отсутствии национального патриотизма, наблюдается несколько более терпимое к ним отношение. Так, О. Латышонок предлагает, и не без основания, рассматривать «западно-русизм» как пророссийски ориентированную форму регионального самосознания, аналогичного пропольской «краевости» [367, с. 35—39]. Е. Миранович характеризует М. Кояловича как сторонника введения белорусского языка в официальную сферу, проведения радикальной земельной реформы и отмечает большую популярность идеи «западно-русизма» среди православных, составлявших до 70 % населения Беларуси. «Западно-русизм», с его точки зрения, стал причиной вычленения белорусской *идеи* из польского культурного контекста и в значительной степени повлиял на формирование белорусской национальной идеологии в конце XIX в. [102, с. 9, 10].

Нам же хотелось подчеркнуть закономерность появления «западно-русизма» с точки зрения распространения пророссийских ориентации среди народов Центрально-Восточной Европы во второй половине XIX в. Схожесть и взаимосвязь «западно-русизма» и «малороссийства» обстоятельно рассмотрел в специальной публикации Ю. Барабаш **[16,** с. 95—**119].** Сильное «москвофильское» движение существовало в Восточной Галиции. Как отмечает Я. Грицак, в 1870—1880-х гг. собственно украинские национальные организации с трудом выдерживали с ним конкуренцию [38, с. 75]. Сильные пророссийские настроения, включавшие идеализацию России, ее правителей и надежды на освобождение из-под венгерского господства с их помощью, были характерны, наряду с панславистским энтузиазмом, для среды словацких националистов этого же периода [384, с. 45; **401,** с. **81].**

Одно из самых парадоксальных явлений этой эпохи — русофильская тенденция в развитии латышского национального движения. Особенно она была характерна для настроений К. Вальдемарса и К. Безбардиса и нашла отражение на страницах влиятельных латышских изданий «Baltijas Vestnesis» и «Baltijas Zemkopis». Лидеры этого направления считали целесообразным проведение более масштабной русификации Латвии, не видя в этом серьезной угрозы, так как русский народ, с их точки зрения, отличается терпимостью к другим культурам. Русский язык, как считал К. Вальдемарс, должен был стать вторым языком латышей. Он подчеркивал, что русскоязычный латыш не является потерей для нации. Необходимость более интенсивного внедрения русского языка и культуры объяснялась этногенетическим родством латышей и русских. Не удивительно, что эти идеи были с симпатией встречены в российском обществе, что обусловило интенсивные контакты латышских национальных лидеров, так же как и «западно-русов», с русскими славянофилами **[401,** с. **130,** 131; 378, с. 221]. Пример русских славянофилов побудил в 1870-х гг. Ф. Бривземниекса к собиранию и публикации фольклорных произведений с целью пробуждения национального самосознания. Характерно, что и публикации латышских дайн он осуществил на основе кириллического алфавита [378, с. 243]. Русофильские настроения не были только уделом узкого круга национальных активистов, о чем свидетельствует, например, то, что в 1874—1894 гг. в Лифляндии более 11,5 тыс. чел. перешли в православие [378, с. 233]. Аналогичное направление существовало и в эстонском национальном движении. Характерно, что его лиде-

ры С. Якобсон и Й. Кёлер поддерживали личные связи с К. Вальдемарсом [380, с. 299]. По мнению С. Якобсона, в отличие от немецкого влияния, принесшего несчастье эстонцам, российская власть принесла эстонцам много пользы. С точки зрения М. Вальденберга именно русофильское течение пользовалось наибольшей популярностью среди эстонской общественности в 1870—1880-х гг. [401, с. 138].

Риторика латышских и эстонских русофилов вне всякого сомнения напоминает сочинения «западно-русов». И это абсолютно неудивительно. Буквально каждое национальное движение в Центрально-Восточной Европе перед лицом непосредственного противника стремилось заручиться поддержкой мене угрожающей, как это могло показаться, силы. Естественно, русофильство в Прибалтике и «западно-русизм» в Беларуси далеко не одно и то же. Так же как и не сопоставимы фигуры, например, М. Кояловича и К. Вальдемарса. Русофильство латышей было куда более национальным, чем «западно-русизм» по-белорусски этничным. Однако и преувеличивать это также не следует, если учесть, что, с одной стороны, во второй половине XIX в. ни латыши, ни эстонцы еще не ставили вопрос о какой-либо форме даже автономии, а, с другой стороны, что «западно-русизм» был представлен не только действительно одиозными фигурами типа К. Гаворского, но такими личностями, как И. Носович, Е. Романов, Е. Карский, без которых формирование белорусской национальной идеи едва ли было бы возможным.

В данном случае необходимо отметить, что вообще грань между «западно-русской» и собственно белорусской национальной позициями применительно к 1870—1890-м гг. провести достаточно сложно. Поляризация эта произошла значительно позже — во второй половине 1900-х гг., когда белорусское национальное движение стало заметной политической и культурной силой.

Вне всякого сомнения, что во второй половине XIX в. именно активность «западно-русов» в первую очередь способствовала артикуляции белорусской этничности. Достаточно упомянуть такие, и по сей день впечатляющие своим объемом и содержанием публикации, как «Словарь белорусского наречия» (1870) И. Носовича, «Обзор звуков и форм белорусского языка» (1885) и «К истории звуков и форм белорусской речи» (1893) Е. Карского, «Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края» (1887—1893) П. Шейна, первые пять выпусков «Белорусского сборника» Е. Романова, «Очерки простонародного житья-бытья в Витебской Белоруссии» (1895) Н. Никифоровского и т. д. Добавим к этому реализацию в буквальном смысле грандиозных проектов публикации исторических документов — 26 (из 39) томов «Актов, издаваемых Виленской комиссией для разбора древних актов» (1865—1899), 11 (из 14) томов «Археографического сборника документов, относящихся к истории Северо-западной Руси» (1867—1890), 15 томов «Актов, относящихся к истории Южной и Западной России» (1863—1892).

Примечательно, что некоторые ученые рассматривали и целенаправленно использовали свою научную деятельность как средство формирования белорусской идентичности. Среди них нужно отметить поистине титаническую активность Е. Романова, стремившегося «открыть миру душу белоруса» и утверждавшего, что он «горы книг издал для белорусов и разбудил у них самосознание» [15, с. 133, 276]. Самосознание это для него означало способность противостоять польскому влиянию. «Полнофобия» Е. Романова, однако, была направлена не столько против поляков, как таковых, сколько против «ренегатов, которые изменили своему народу» [15, с. 276]. Поэтому он считал, что задача его отчасти выполнена, так как «ожившая Белая Русь шлет ... проклятия на голову низких предателей» [15, с. 97, 98]. Вместе с тем Е. Романов призывал молодежь «следовать примеру польских масс Привислинского края» в экономической сфере путем организации кооперативов, товариществ и т. д. [94, с. 43]. На наш взгляд вполне можно согласиться с точкой зрения И. Марзолюка, характеризующего Е. Романова скорее как белорусского патриота, чем «западно-руса» [94, с. 37—45].

Собирание фольклора и этнографических сведений становилось если не массовым, то достаточно распространенным явлением. Интересным в этом отношении представляется анализ корреспондентской сети, организованной П. Шейном. По далеко не полным данным (отсутствуют данные по Гродненской губернии) в ней было задействовано 86 чел. При этом крупнейшую группу из числа указавших род занятий (66 чел.) составили учащиеся (45 чел.), преимущественно семинаристы, реже гимназисты и студенты. Менее значительным было участие учителей (16) и чиновников-писарей (5). Большая часть корреспондентов была сосредоточена в Минской губернии — 43 чел., в Виленской — 28, Витебской — 8, Могилевской — 7 [257—294]. Собирание произве-

дений фольклора и этнографических материалов, вне всякого сомнения, способствовало пробуждению общего этнического, а нередко и собственно национального самосознания.

В целом же «западно-русизм» второй половины XIX в. сыграл роль первого этапа «этнографической» фазы, характерной для большинства народов Центрально-Восточной Европы. Это был этап накопления эмпирического материала, но без него национально-политические проекты начала XX в. едва ли были бы возможными.

Население Беларуси в конце XIX в. Этнические, социальные, конфессиональные и региональные параметры

В 1897 г. население Беларуси составило 6 493 550 чел. Необходимо отметить, что по сравнению с 1858 г. численность населения возросла более чем в два раза. При этом десятилетие 1887—1897 гг. стало периодом наиболее интенсивного роста численности населения, носившего в отдельных районах характер демографического взрыва. Если в среднем численность населения возросла на 36 %, то в Оршанском уезде — на 60 %, Мстиславском — 56 %, Речицком — 57 %. Подобная ситуация в целом была характерна для востока и Центрального и Восточного Полесья [158, 205].

Численность населения, признавшего родным языком белорусский, достигла 4 756 637 чел. (73,2 %). При этом необходимо учитывать, что среди них было 795 иудеев и 1482 мусульманина. Удельный вес православных среди белорусов увеличился на 3,7 % (до 88,6 %), католиков соответственно снизился до 14,0 %. Белорусский язык родным признали 8698 староверов (13,4 % всех староверов в Беларуси) и 409 лютеран. Подавляющее большинство белорусов составляли крестьяне (по сословному принципу) — 92,1 %, мещане — 5,7 %, духовенство — 0,17 %, потомственные дворяне — 1,6 %, личные — 0,14 %. Городская община белорусов насчитывала 107 тыс. чел. Соотношение католиков и православных среди белорусов-горожан было таким же, как и в целом. Вместе с тем удельный вес потомственных (3,2 %) и личных (2,2 %) дворян здесь был заметно выше. Крестьяне составля-

ли 44,8 % всех белорусов-горожан, мещане — 46,3 %. Уровень грамотности в городах у белорусов (36,4 %) был почти в три раза выше среднего.

Среди подавляющего большинства белорусов по-прежнему были широко распространены конфессионимы «русские» и «поляки», а жители западного региона нередко именовали себя «тутэйшими». Самоназвание «белорусы» было уже повсеместно известно, а региональные и локальные самоназвания типа «литвины», «чернорусы» не фиксировались официальной статистикой. Однако необходимо учитывать, что большинство «переписных» белорусов были названы таковыми по формально лингвистическому принципу. С определенной долей уверенности можно говорить о сознательном выборе этничности лишь тех 642 тыс. белорусов, которые были грамотными (13,5 % всех белорусов). Необходимо учитывать существование большого разрыва грамотности мужчин и женщин. Среди женщин-белорусок она не превышала 5 % . В то же время среди мужского белорусского населения уровень грамотности в среднем доходил до 26 %, а в Гродненском уезде, например, составлял 36 %. Если принять уровень грамотности в данном случае за показатель уровня развития артикулированности идентичности, то наиболее четко она была выражена среди белорусов Лидского, Диснянского, Ошмянского, Вилейского, Гродненского, Волковысского, Слонимского, Новогрудского, Слуцкого и Минского уездов. Здесь было сосредоточено более половины грамотного белорусского населения, хотя проживало только 30 % всех белорусов.

Общая численность украинцев (в том числе и полешуков) достигла 311 146 чел. (4,8 % всего населения). Более 95 % из них (296 тыс. чел.) проживали на территории Западного Полесья. Удельный вес этой группы несколько увеличился (до 0,5 %). Православные составляли абсолютное большинство (97 %) украинцев, католики — только 2,4 %, обращает на себя достаточно значительное число лютеран — 1703 чел.,или 0,5 % всех украинцев. Украинцы были почти исключительно сельскими жителями, только 1,8 % их (5623 чел.) проживало в городах. Соответственно 97,4 % украинцев составляли крестьяне, мещане — 2,1 %, потомственные дворяне — 0,21 %, личные — 0,09 %. Обращает на себя внимание более высокий, чем у белорусов уровень грамотности — в среднем 15,7 %, в городах — 45,2 %.

Русские (т. е. признававшие родным языком русский) стали наиболее динамично развивающейся группой населения. Ее чис-

ленность достигла 280 тыс. чел. (4,3 %). Без староверов это 224 тыс. чел. (3,4 %). При учете того, что среднегодовой прирост населения в 1860—1890-х гг. составлял 2,7 % в год, численность русских — уроженцев Беларуси должна была составить порядка 20 тыс. чел. Численность мигрантов из этнически русских губерний доходила до 70 тыс. чел., в том числе — 40 тыс. военнослужащих. Если предположить, что все они были русскими, то можно прийти к заключению, что оставшиеся 134 тыс. чел. русскоязычного населения — это подвергшиеся ассимиляционному воздействию белорусы, поляки, татары, евреи. Характерно, что среди русскоязычного населения оказалось порядка 8 тыс. католиков (3 % всех русских), 667 лютеран, 3282 иудея, 1331 мусульманин. Православные составляли только 75 % русского населения, староверы — 19,9 %. Более 41 % русских проживали в городах. В сословном отношении русские отличались сравнительно низким удельным весом крестьян — 55,7 % и высоким потомственного (6,2 %) и личного (4,5 %) дворянства и духовенства (3,5 %). При этом в городах доля потомственного (9,7 %) и личного (8,6 %) дворянства еще выше. Для русских был характерен высокий уровень грамотности — 39,6 % (в городах — 55,8 %).

Численность поляков, как уже отмечалось, значительно сократилась (до 156 183 чел. — 2,4 % населения). Показательно, что только 60 иудеев и 12 мусульман признали родным языком польский. Вместе с тем 1,1 % поляков были православными. В городах проживало 25,7 % всей группы. По удельному весу дворянства — 31,3 % потомственного и 2,9 % личного — поляки по прежнему превосходили все остальные группы населения. Мещане и крестьяне составляли соответственно 32,7 и 30,1 %. Последний показатель особенно важен, так как некоторые авторы, критиковавшие перепись 1897 г., полагали, что к полякам были отнесены исключительно дворяне и мещане. В структуре городской польской общины удельный вес потомственного дворянства был несколько ниже (23,8 %), а личного (5,6 %) выше среднего; крестьяне составляли 25,5 %. Для поляков был характерен высокий уровень грамотности — 49,6 % в среднем и 61,9 % в городах.

Численность и удельный вес евреев значительно возросли — до 911 319 чел. (14,0 % населения). В 1858 г. доля евреев в структуре населения Беларуси составляла 10,8 % (350 тыс. чел.), 1870 г. — 11,7 % (441 тыс. чел.) [подсчитано по 208, 210]. В среднем ежегодно еврейское население увеличивалось на 4,5 %, что в 1,7 раза превышало средние показатели прироста населения.

К концу XIX в. различия в удельном весе евреев в структуре разных регионов сгладились. Однако в Восточном регионе он был ниже среднего — 12,5 %, что было связано с относительно более ранним началом эмиграции. По сведениям Л. Л. Рохлина из местечка Краснополье Могилевской губернии в 1884—1904 гг. в США выезжало ежегодно до 3 % семей, что, судя по всему, было характерно для всего региона [183, с. 84].

Практически все, считавшие родным языком еврейский (99,5 %), исповедовали иудаизм, перепись зафиксировала 259 евреев православных, 142 католика, 16 лютеран. К общей численности евреев, судя по всему, необходимо добавить 4268 иудеев, признавших родным не еврейский язык. В городах проживало только 40,2% всех евреев, остальные — в местечках, относительно небольшое количество в сельской местности. Характерно, что из всех евреев, указавших родным язык другого этноса, в городах русский указало 89,5 %, а белорусский — только 6,1 %. В местечках соотношение было совсем иным: русский — 26,4 %, белорусский — 68,3 %.

Взаимоотношения белорусов и евреев в целом не приводили к открытым конфликтам, в отличие от других регионов Центрально-Восточной Европы. Показательно, например, что в донесениях на запрос циркуляра «О предотвращении погромов в Западном крае» (1882 г.) полицейские исправники Минской губернии отмечали, что «здешнее русское население вполне свыклось с еврейским» [115, л. 8]. Н. А. Янчук указывал на социальный оттенок взаимоотношений белорусов и евреев — «белорус хуже относится к еврею торговцу и хорошо — к ремесленнику» [324, с. 24]. Аналогичная точка зрения была высказана на страницах журнала «Гомон»: «Беднейшая часть еврейства нигде так не сошлась с народом, как в Белоруссии: евреи не только усвоили здесь некоторые народные обычаи и предрассудки, но даже нередки случаи единодушной борьбы этой части с белорусами же против евреев же богачей и панов ...» [164, с. 111]. Белорусский язык оказал определенное влияние на разговорную практику еврейского населения. Ряд исследователей, в том числе, например Е. Витте, отмечали, что «евреи стараются говорить с белорусами их родным языком» [29, с. 22]. Отдельные представители еврейской этнической группы, Х. Ратнер, З. Бядуля (С. Плавник) принимали непосредственное участие в белорусском национальном движении. Характерно, что сам З. Бядуля считал, что в Белоруссии еврейская культура имеет свой территориально-бытовой оттенок — она от-

личается от других еврейских культур, ... тут еврейская культура носит белорусскую одежду».

Уровень грамотности еврейского населения примерно соответствовал показателям русских и поляков — 42,1 %, при этом, что специфично именно для еврейской общины, уровень грамотности в городах (43,7 %) и за их пределами (41,0 %) был почти одинаков. В сословном отношении подавляющее большинство евреев составляли мещане (96,8 %), дворяне представляли единичные случаи (всего 300 чел.), зато многочисленным было купечество (10 385 чел. — 1,1 % всей группы); 1,8 % всей группы относилось к сословию крестьян (16 807 чел.). Структура городского и местечкового еврейского населения мало чем различалась. В городах более значительным был удельный вес купечества (2,1 % всей группы).

Среди традиционных для Беларуси групп этнических меньшинств особо выделялись немцы. Численность считавших родным языком немецкий составила 10 534 чел. (0,16 % населения). Из этого количества необходимо вычесть 112 иудеев. Почти 9 % немцев (936 чел.) составляли католики, 218 — православные, остальные — лютеране. В городах проживало только 37 % всех немцев. Характерная черта немецкой общины — наивысший уровень грамотности среди всех этнических групп Беларуси — 60, 6 %, в том числе среди горожан — 78,3 %. Почти половина всех немцев относилась к сословию мещан (47,6 %), 24,8 % — крестьян. Значительным было количество потомственных (5,4 %) и личных (4,0 %) дворян. Структура городского и сельского немецкого населения была почти идентична.

Пожалуй, сложнее всего анализировать состав этнической группы татар. Татарский язык родным считало 6558 чел., в том числе 6423 мусульманина (98 %). Общая численность мусульман составила 9593 чел., в том числе 13,9 % (1331 чел.) из них считало родным языком русский, 15,4 % (1482 чел.) — белорусский. Половая структура татарской группы отличалась значительным преобладанием мужчин. Например, в Бресте на 303 мужчин-татар приходилось 15 женщин-татарок, в Гродно соответственно 790 на 8. Это было следствием того, что значительную часть татар (1732 чел.) составляли военнослужащие. Поэтому численность собственно белорусских татар определить достаточно сложно. Относительно сбалансированные общины были в Минске (613 и 520) и Новогрудке (222 и 253). Очевидно, что именно в этих условиях максимально сохранялась этнокультурная специфика группы.

Так, в Минске только 7,4 % мусульман назвали родным языком русский и 1,0 % белорусский, в Новогрудке — 1,0 % русский и 3,0 % белорусский. Для татар-горожан был характерен относительно высокий уровень грамотности: в Минске — 34,0 %, в Новогрудке — 38,1 %. Характерная особенность сословной структуры — принадлежность подавляющего большинства татар к дворянскому сословию в Минске — 87 %, в Новогрудке — 97 %. По этому показателю татары занимали лидирующее положение среди всех этнических групп населения Беларуси.

По своей этнической структуре городское население (всего 648 582 чел. — 9,98 % населения) как и ранее существенно отличалось от населения в целом. Больше половины его составляли евреи (56,7 %), среди остальных этнических групп крупнейшими были русские (17,9 %), белорусы (16,5 %), поляки (6,2 %). Крупнейшие конфессиональные группы составляли иудеи (57 %), православные (31,3 %) и католики (9,3 %). Большую часть населения городов составляли мещане (71 %) и крестьяне (19,1 %). Хи рактерная черта населения ряда городов — наличие многочисленных контингентов военнослужащих. Лидировал в этом отношении г. Гродно, где военнослужащие составляли 20,1 % всех жителей. Значительным было количество военнослужащих в Лиде (18,0 %), Волковыске (17,1 %), Несвиже (16,5 %), Борисове (15,7 %), Бобруйске (15,0 %), Бресте (13,4 %).

Крупнейшей конфессиональной группой (70,8 %) по-прежнему оставались православные, 88,6 % которых составляли белорусы, 4,6 % — русские и 6,5 % — украинцы. Белорусы составляли также и большинство (76,0 %) католиков. Особый интерес с точки зрения развития межэтнических отношений представляет конфессиональная группа староверов — 64 698 чел. (1,0 % населения).

В научной литературе и публицистике второй половины XIX — начала XX в. широкое распространение получило мнение об исключительной замкнутости русских-староверов. «Великороссы не только не роднятся с белорусами, литовцами, поляками, не только не берут себе жен из этих племен, — отмечалось в 1870 г. в «Вестнике Западной России», — но даже избегают знакомств и всяких сношений с ними. Иные ведут торговлю, но в приказчики никогда не возьмут из тутэйших» [26, с. 313]. Аналогичной точки зрения придерживались А. Киркор, А. М. Сементовский, М. В. Довнар-Запольский [50, с. 14; 195, с. 54; 181, с. 203].

Вместе с тем статистические материалы свидетельствуют, что эта замкнутость далеко не была абсолютной. Согласно переписи

1897 г. свыше 13,5 % староверов (8698 чел.) считали родным языком белорусский. Определенные изменения произошли в структуре территориального размещения староверов. Если в 1863 г. в Восточном регионе было сосредоточено до 60 % всей группы, то в 1897 г. уже только 46 %. За это время их численность на востоке увеличилась на 30 %, в Западном — в 1,5 раза, Среднебелорусском регионе — в 2 раза. Характерно, что до 61 % «белорускоязычных» староверов было сосредоточено именно в Восточном регионе, и они составляли здесь до 17,4 % всей группы. Удельный вес староверов здесь с 1863 по 1897 г. снизился с 2,1 % до 1,5 %. По-видимому, контакты с белорусским населением были более интенсивными там, где старообрядцы проживали дольше и там, где сложились определенные традиции таких связей. В Западном Полесье и Западном регионе удельный вес нерусскоязычных староверов составил соответственно 8 и 8,8 %. В Западном Полесье староверы появляются только после 1881 г., вследствие чего они дольше сохраняли обособленность [134, л. 5, 6]. В Западном регионе определенное значение имела конфессиональная структура населения — староверы быстрее сближались с православными, чем с католиками.

Более высокими темпами эти процессы развивались в городах. Здесь свыше 17,0 % староверов считали своим родным языком белорусский. В городах Восточного Полесья и среднебелорусском регионе их удельный вес был еще выше: 25,0 % и 19,0 % соответственно.

Судя по всему, появление «белорусскоязычных» староверов было результатом межэтнических браков. Об их существовании упоминали М. В. Довнар-Запольский и А. М. Сементовский, отмечая, правда, «редкость этих случаев» [181, с. 206; 195, с. 55]. Определенную роль сыграли и этнокультурные связи. Так, в сборнике А. Дембовецкого упомянуто, что несмотря на сохранение старообрядцами «чисто русского языка, у них имеется примесь белорусских слов» [153, кн. 1, с. 665]. С другой стороны, Е. Р. Романов отмечал случаи заимствования белорусами русского фольклора именно у старообрядцев [169, с. 26, 27; 170, с. 463]. Длительное проживание на территории Беларуси оказало определенное влияние и на формы самосознания староверов. Характерно, что старообрядцы — переселенцы из Беларуси в Хотинском уезде в Украине в конце XIX в. устойчиво именовали себя белорусами [105, с. 123].

Перепись 1897 г. позволяет детально проанализировать сословно-социальный состав населения Беларуси. Белорусы составляли крупнейшую группу потомственного дворянства (51,8 %). Вслед за ними шли поляки (32,8 %) и русские (11,7 %). В то же время среди личного дворянства большинство составляли русские (50,6 %), белорусы — 26,1 %, поляки — 18,3 %. Обращает на себя внимание высокий удельный вес татар среди потомственных дворян — 2,5 %. Среди духовенства преобладающими группами были русские (53,9 %) и белорусы (43,2 %). Подавляющее большинство купечества составляли евреи (87,4 %). Относительно многочисленным было русское купечество (8,6 %). Среди мещан крупнейшими этническими группами были евреи (67,8 %), белорусы (20,9 %), русские (5,7 %) и поляки (3,9 %). Большую часть крестьян составляли белорусы (88,3 %), украинцы (6,1 %) и русские (3,1 %).

Одним из показателей реального места каждой этнической группы в социальной структуре общества было распределение лиц с «образованием выше начального». Доминирующее положение в этой группе (всего 44 916 чел. — 0,69 % населения) занимали русские (49,9 % всей группы). На втором месте были поляки (18,9 %), за ними шли белорусы (18,5 %), евреи (7,3 %) и немцы (2,6 %). При этом лица с «образованием выше начального» составляли 11,2 % всех немцев, 8,0 % русских, 5,4 % поляков, 1,4 % татар и только 0,3 % евреев и 0,17 % белорусов.

Не менее очевидным было доминирование русских (48,0 %) среди занятых в администрации, суде и полиции (всего 9001 чел.). Вместе с тем здесь были достаточно значительны позиции белорусов (38,7 %), а также и поляков (7,7 %), несмотря на дискриминацию последних. Среди частнопрактикующих юристов (всего 606) значительной была доля евреев (36,6 %), что достаточно удивительно при учете относительно небольшого числа евреев с «образованием выше начального». Значительной была также доля русских (30,3 %), поляков (21,9 %), белорусы составляли же только 9,9 % всех частнопрактикующих юристов. В сфере здравоохранения (4791 чел.) евреи были наиболее многочисленной группой (32,4 %), вслед за ними располагались русские (25,3 %), белорусы (24,5 %) и поляки (13,6 %). Еще более значительным было представительство евреев (42,2 %) среди лиц, занятых литературой, искусством и наукой (всего 916 чел.), русских среди них было 28,9 %, поляков — 11,7 %, белорусов — 9,7 %. Среди наиболее массовой социальной группы, занятой интеллек-

туальной деятельностью — преподаванием и воспитанием (15 586 чел.), опять-таки доминировали евреи (58,2 %), вслед за которыми располагались белорусы (20,5 %), русские (14,6 %), поляки (3,7 %). Позиции русских (50,9 %) и белорусов (47,3 %) были примерно одинаковы среди достаточно многочисленного православного духовенства (4993 чел.)- В то же время среди духовенства «других христианских исповеданий» (462 чел.) явно преобладали поляки (66,8 %), однако заметным был и удельный вес белорусов (21,6 %).

Позиции белорусов среди чиновничества и занятых в интеллектуальной сфере были значительно сильнее в сельской местности (включая местечки). Так, если среди занятых в администрации, суде и полиции в городах белорусы составляли 32,5 %, то за пределами их — 53,2 % , среди частнопрактикующих юристов соответственно 6,8 % и 21,6 %, православного духовенства — 37,4 % и 49,5 %, не православного — 3,6 % и 29,3 %, учителей — 7,7 % и 28,8 %, занятых литературой, искусством и наукой — 4,2 % и 29,2 %, врачей — 15,4 % и 33,8 %. Иными словами, большая часть белорусов, занятых в интеллектуальной сфере, жила за пределами городов. Особенно хорошо это видно на примере католических священников-белорусов, из которых только 5 % были горожанами. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что обозначенная представителями интеллигенции в ходе переписи 1897 г. белорусская идентичность не была (в подавляющем большинстве случаев) тождественна национальной, во всяком случае, равнозначной четко артикулированному самосознанию русских, поляков, немцев, евреев. Дистанция между формально заявленной «белорускостью» и собственно национальной позицией была огромной, также как между признанием украинского языка родным и его употреблением. Об этом красноречиво свидетельствует приведенный Я. Грицаком пример из истории формирования украинского национального движения: в начале XX в. в Киеве было только восемь интеллигентных семей, в которых говорили по-украински [38, с. 98]. Дополним, что согласно переписи 1897 г. в Киеве родным языком украинский обозначили 731 чиновник, 1467 священников, 28 юристов, 402 учителя, 337 врачей и 41 занятый в сфере литературы, науки и искусства (всего 3006 чел.).

Что же касается Беларуси, то очевидно, что в конце XIX в. русские представляли собой доминирующую в социокультурном отношении группу населения. Среди признавших родным языком русский доля дворян была в 4 раза (10,8 % против 2,7 %), духовенства — в 13 раз (3,48 % против 0,27 %), купечества — в 2 раза (0,36 % против 0,18 %), лиц с «образованием выше начального» в 11,5 раза (8 % против 0,69 %) выше, чем в среднем по Беларуси. Показательно, что именно русский язык стал основным языком грамотности. Его указали 94 % всех грамотных белорусов, 95,4 % украинцев, 65 % поляков (sic!), 54,8 % немцев, 58,4 % евреев, 61,6 % татар. Кроме этого русским языком, вне всякого сомнения, владели и те 11 % грамотных поляков, 18,6 % немцев, 4,2 % татар, имевших «образование выше начального». Не менее характерно, что удельный вес русского населения в городах (18 %) более чем в 4 раза выше, чем в среднем в Беларуси. Именно в городах русские составляли 54,6 % чиновников, 35,3 % юристов, 59,5 % православного духовенства, 32 % занятых в сфере науки, литературы и искусства и 31 % занятых в сфере здравоохранения.

Украина и украинцы

В экономическом отношении уровень развития Украины значительно превосходил белорусский. Вместе с тем интенсивность этого развития была неравномерна. С одной стороны, большая часть экономически развитых районов находилась на юге Украины (например, Юзовский район — 448 руб. в год на человека), а с другой стороны^на севере, в Волынской губернии располагались наименее развитые районы европейской части империи (Камень-Каширский и Ковельский — соответственно 4 и 5 руб. в год на человека). Даже в развитых южных регионах существовали чисто аграрные зоны, в которых уровень торгово-промышленного оборота не превышал 14—15 руб. в год на человека. На севере же средний уровень развития Волынской и Черниговской губерний (соответственно 26,3 и 28,1 руб.) мало чем отличался от средних показателей по Беларуси. Сравнительно невысоким он был и в одной из наиболее активных в национально-культурном отношении Полтавской губернии (**30,4** руб.) **[228].**

Согласно переписи **1897** г. в пределах Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Екатеринославской, Харьковской и Херсонской губерний проживало 21 982 617 чел. Крупнейшими этническими группами были украинцы (16 420 794 чел. — 74,7 % населения), русские (2 356 951 — 10,7 %), по-

ляки (377 714 — 1,7 %), немцы (359 419 — 1,6 %) и евреи (1 852 002 — 8,4 %) [158].

Украинцы были преимущественно православными (97,8 %). Доля католиков была незначительной — всего 2,0 % . Кроме этого 9569 признавших украинский язык родным были староверами, 2137 — лютеранами, 2589 — иудеями. Подавляющее большинство (92,8 %) украинцев относилось к сословию крестьян, 5,7 % — к мещанам, 0,5 % — к дворянам. Хотя удельный вес дворян среди украинцев был заметно ниже, чем у белорусов, их абсолютная численность была значительной (88 834 чел.). Обращает на себя внимание численность и удельный вес (в своей сословной группе) украинцев среди сословия духовенства (51 724 чел. — 52,2 %) и купцов (4434 чел. — 7,4 %). Значительным было представительство украинцев в таких сферах деятельности, как администрация, суд и полиция (12 728 чел. — 40,8 % всей группы), православных священнослужителей (18 144 — 53,3 %), врачей (6481 — 31,3 %), в меньшей степени среди учителей (9459 — 22,5 %), юристов (442 — 17,0 %), занятых в сфере науки и искусства (467 — 11,5 %). В городах проживало 906 335 украинцев — 5,5 % всей группы. Несмотря на достаточно высокий уровень представительства украинцев в административной и интеллектуальной сферах общий уровень грамотности (12,9 % всего населения) был наименьшим среди народов восточной части Центрально-Восточной Европы. Доля украинцев в городах составляла 32,2 %. Показательно при этом, что в городах Черниговской губернии она достигала 48,8 %, Харьковской — 54,1 %, Полтавской — 57,1 %.

Особый интерес представляет сама Полтавская губерния и г. Полтава, которые стали одним из центров украинского национального движения. Подчеркнем, что как губерния, так и сам город имели довольно средний для Украины уровень экономической активности (соответственно 30 и 64 руб. на человека в год). Полтава была относительно небольшим городом с населением 53 тыс. чел., однако украинцы составляли 56 % его населения. В масштабах губернии украинцы составляли 71,5 % чиновников," 46,1 % юристов, 83 % православных священников, 49,5 % учителей, 61,4 % врачей, 46 % лиц с «образованием выше начального». Если на каждые 10 000 украинцев в среднем приходилось 27 чел. с «образованием выше начального», то в Полтавской губернии этот показатель доходил до 85. Образованных украинцев в одной Полтавской губернии (11 386 чел.) было больше, чем всех

белорусов с «образованием выше начального». Они составляли 25,4 % вообще всех образованных украинцев.

В отличие от Беларуси в Украине русские составляли вторую по численности этническую группу населения. Их доля в структуре населения варьировала в зависимости от региона. Наименьшей она была в Полтавской губернии (2,6 %), наивысшей в Черниговской (21,5 %) и Херсонской (21,0 %). Социально-сословная структура русских также отличалась своеобразием: 64,0 % составляли крестьяне, 19,5 % — мещане. В то же время представительство русских и среди привилегированных сословий было чрезвычайно значительным. Русские составляли 49,5 % дворян, 46 % духовенства и 27,6 % купечества. Русские доминировали в административной сфере (52,2 % занятых), составляли 50 % частнопрактикующих юристов, 31 % учителей, 38,9 % врачей и 45,7 % занятых в сфере науки, искусства и литературы. Хотя общий уровень грамотности русских был ниже, чем в Беларуси (32,3 %), они составляли большую часть лиц с «образованием выше начального» (57,4 %).

В городах проживало 38,4 % всех русских и они составляли 32,4 % всех горожан. Особенно значителен был удельный вес русских в городах Харьковской (40,4 %), Екатеринославской (40,7 %) и Херсонской (44,9 %) губерний.

Евреи составляли лишь третью по численности этническую группу населения. Их доля в структуре населения была значительно ниже, чем в Беларуси. Наиболее многочисленны они были в Волынской (13,2 %), Подольской (13,2 %) и Херсонской (11,8 %) губерниях. В Полтавской и Черниговской удельный вес евреев был ниже среднего (3,9 % и 4,9 % соответственно), в Харьковской составлял всего 0,5 % населения. В городах евреи составляли лишь 28,3 % населения, т. е. примерно в два раза меньше, чем в Беларуси. Уровень грамотности украинских евреев был ниже, чем в Беларуси — 39,2 %. Среди лиц с «образованием выше начального» евреи составляли всего 7,5 %. Вместе с тем евреи были достаточно хорошо представлены в сфере интеллектуальной деятельности, составляя 16 % юристов, 33,1 % учителей, 16,1 % врачей и 21,4 % занятых в сфере науки, искусства и литературы. Однако эти показатели значительно ниже аналогичных в Беларуси. Ниже было представительство евреев среди купечества — 58,3 %. Хотя в Украине, так же как и в Беларуси, евреи сохраняли свою этноконфессиональную замкнутость, степень ее была ниже. В Украине 1,2 % иудеев назвали родным не еврейские языки

(в Беларуси — 0,5 %), в том числе 87,9 % из них — русский (21 070 чел.) и 8,9 % (2586 чел.) — украинский.

Удельный вес поляков в Украине был несколько ниже, чем в Беларуси. Более 85 % всех поляков проживало в Волынской, Подольской и Киевской губерниях, где они составляли соответственно 6,1 %, 2,3 % и 1,8 % населения. На востоке Украины доля польского населения была ничтожна: в Полтавской и Черниговской губерниях по 0,14 %, в Харьковской — 0,24 % . Вместе с тем поляки составляли значительную долю дворянства (19,6 %). В целом, структура польской этнической группы была более сбалансированной, чем в Беларуси. Крестьяне составляли 46,5 % поляков, мещане — 26,6 %, дворяне — 16,6 % . Уровень грамотности украинских поляков (40,0 %) был ниже, чем в Беларуси, при этом только 18,6 % из них умели читать и писать по-польски, остальные по-русски. Однако среди лиц с «образованием выше начального» поляки составляли в среднем 9,9 %, в Волынской губернии — 21,7 %, в Подольской — 22,0 %. Доля поляков среди чиновников доходила до 4,9 %, юристов — 11,3 %, учителей — 4,0 %, врачей — 10,1 % , занятых литературой, искусством и наукой — 8,6 %. В городах жило лишь 23,3 % всех поляков, а их доля среди горожан была незначительной — 3,1 %. Наивысшим удельный вес поляков среди городского населения был в Подольской (4,9 %), Волынской (7,6 %) и Киевской (4,6 %) губерниях, однако в любом случае он был значительно ниже, чем в городах Беларуси.

Таким образом, в целом этносоциальная структура .населения Украины существенно отличалась от Беларуси. Она в значительно большей степени благоприятствовала развитию национального движения и национальной консолидации. Важнейшим препятствием на пути развития этих процессов стал низкий уровень грамотности украинцев и, следовательно, восприимчивости к национальной идеологии. Кроме этого украинское национальное движение стало объектом беспрецедентного давления со стороны российской администрации. С 1859 г. по 1895 г. было издано, по меньшей мере, семь различных указов и постановлений, в той или иной степени ограничивающих возможность публикации литературы на украинском языке, в том числе и печально знаменитые Валуевский указ 1863 г. и указ 1876 г., призванные в первую очередь не допустить распространения национальной идеологии на массовом уровне. В связи с этим центром украинского национального движения стала Восточная Галиция. Он опирался здесь

на развитую инфраструктуру. Характерно, что, наряду с традиционными культурно-просветительскими организациями, тут действовали сберегательное общество «Дтстер», спортивно-пожарные общества «Сошл» и «Сі4» (прообраз национальных силовых структур), что свидетельствовало о высоком уровне зрелости национального движения. Необходимо подчеркнуть, что даже, несмотря на целенаправленное ограничение возможностей развития украинского движения в надднепровской Украине, интенсивность его развития значительно превосходила уровень движения белорусского. Так, например, только в период временного ослабления цензурных ограничений в 1874—1876 гг. была напечатана 81 тыс. экземпляров книг на украинском языке [38, с. 203].

Литва и литовцы

В отличие от Украины уровень экономического развития Литвы в меньшей степени отличался от Беларуси (соответственно 39 и 25,8 руб. в год на человека). Необходимо учитывать, что на Виленский район приходилось 45 % всего торгово-промышленного оборота Литвы. Однако средний уровень развития сельских районов Литвы (23,9 руб.) все равно превосходил (более чем на 50 %) аналогичные показатели в Беларуси (15,5 руб.). Наиболее интенсивно рыночные отношения развивались на Западе Литвы — в Жемайтии. Особо выделялся Шавельский (Шауляй) район с показателем 65 руб. на человека в год, Паневежский — 30 руб., Янишский — 35 руб. и т. д. В то же время на периферии собственно литовской этнической территории располагались одни из самых бедных районов европейской части империи: Сейненский, Уценский (по 7 руб.), Олитский (8 руб.). На Виленщине (без Вильны) показатель экономической активности составлял лишь 12,2 руб. в год на человека, в Сувалкской губернии даже, несмотря на раннюю отмену крепостного права он равнялся 17,3 руб., а в Ковенской губернии (включавшей в себя ряд отсталых районов) — 21,4 руб. (без учета Ковно) [228].

Население Литвы к 1897 г. составляло 2 694 296 чел. Удельный вес литовцев — 58,2 % всего населения, значительно уступал аналогичным показателям других народов восточной части Центрально-Восточной Европы. При этом в «литовских» уездах Сувалкской губернии он достигал 72,1 %, в Ковенской губернии —

66,0 %, на Виленщине — всего 34,1 % (хотя и здесь литовцы были наиболее многочисленной этнической группой). Среди других групп особо выделялись своим удельным весом евреи (13,3 %), поляки (10,3 %), белорусы (9,1 %), русские (5,2 %), немцы (1,8%) [158].

Подавляющее большинство литовцев (98,4 %) составляли католики, среди прочих конфессий — лютеране (0,8 % всех литовцев — 13 855 чел.), 796 православных, 234 иудея, 23 мусульманина и 8 староверов. Несмотря на сравнительно высокий удельный вес дворян (2,5 % — 40 188 чел.) литовцы в большинстве своем были крестьянами (93,3%), мещане составляли 3,9 % всех литовцев. Уровень грамотности (36,8 %) значительно превосходил показатели украинцев и белорусов. Характерная особенность: лишь 16,4 % грамотных литовцев указали в качестве языка грамотности русский. Это наименьший показатель среди всех этнических групп восточной части Центрально-Восточной Европы, включая поляков, немцев и евреев. Наивысшим был уровень грамотности литовцев в Ковенской губернии — 41,1 % (из них по-русски 15,0 %), в Сувалках он составлял 33,0 % (по-русски — 16,7 %), на Виленщине — 23,7 % (по-русски — 25,8 %). Вместе с тем среди группы с «образованием выше начального» литовцы составляли только 9,8 %. Позиции литовцев были слабы практически среди всех групп, занятых интеллектуальной деятельностью: они составляли только 18,7 % чиновников, 7,7 % юристов, 15,5 % учителей, 16,3 % врачей и 5,5 % занятых в сфере науки, литературы и искусства. Единственное исключение — большинство «священнослужителей не православного вероисповедания» (55,0 %) были литовцами. Литовцы были наименее затронуты процессом урбанизации, только 26 645 чел. из них (1,69 % всех литовцев) жили в городах.

Также как и в Беларуси, в Литве евреи были второй по численности этнической группой. На Виленщине они составляли 14,7 % населения, в Ковенской губернии — 13,7 %, в Сувалках — 9,6 %. Также как и в Беларуси в Литве составляли крупнейшую группу городского населения (43,6 %), хотя ее удельный вес был ниже чем в Беларуси. Подобным был и общий уровень грамотности — 41,6 %. Половина грамотных евреев (50,8 %) указала языком грамотности русский. Среди группы лиц с «образованием выше начального» евреев было всего 7,0 %. Евреи составляли 83,1 % всех представителей купеческого сословия.

В отличие от Беларуси в Литве позиции польского населения были более прочными. На Виленщине поляки составляли 14,3 % населения, в Ковенской губернии — 9,0 %, в Сувалках — 8,0 %. Поляки составляли 24,0 % горожан и 58,0 % дворян. При этом 31,7 % всех поляков были дворянами, 33,5 % — крестьяне. Доля поляков среди лиц с «образованием выше начального» была заметно выше, чем в Беларуси (32,8 %). Более 47,0 % поляков были грамотными, при этом 42,4 % из них указали в качестве языка грамотности русский. Позиции поляков были достаточно сильны среди администрации (24,3 %), юристов (39,5 %), лиц, занятых литературой, искусством и наукой (31,7 %), врачей (24,4 %).

Удельный вес русских в Литве был выше, чем в Беларуси. На Виленщине он составлял 7,6 %, в Ковенской губернии — 4,7 %, в Сувалках — 3,6 %. Значительная часть русских (34,7 %) были староверами (в Ковенской губернии — 44,3 %). В городах удельный вес русских доходил до 18 %, в том числе на Виленщине до 20 %. Хотя уровень грамотности русских (42,7 %) был не самым высоким, среди группы с «образованием выше начального» русские занимали доминирующее положение (40,7 %). Русские были самой многочисленной группой среди администрации (46,7 %), их было достаточно много среди юристов (23,5 %), учителей (20,3 %), деятелей искусства, литературы и науки (19,6 %), врачей (20,0 %).

Таким образом, положение литовцев в системе этносоциальных отношений было сложнее, чем у белорусов, и самым сложным среди народов восточной части Центрально-Восточной Европы. Однако несмотря на это литовское национальное движение развивалось достаточно динамично, по крайней мере быстрее, чем у украинцев и белорусов. Одним из наиболее заметных его проявлений стало издание журнала «Ausra» в 1883—1886 гг. По подсчетам М. Гроха в этот период в национальном движении участвовало свыше 250 чел. Большую часть из них составляли студенты (42,5 %), учителя и преподаватели гимназий (8,5 %), священники (12,5 %), крестьяне (9 %) [358, с. 89]. В начале 1890-х гг. численность участников национального движения практически не изменилась, но профессиональный состав претерпел значительные изменения: наиболее многочисленными были представители свободных профессий (25,0 %), в том числе большое количество врачей, священники (23,5 %), торговцы и ремесленники (10,5 %), учителя (10,5 %). В этот период более четко обозначилось участие чиновников (7,5 %), в то же время значение дворян

статистически было незначительным (4,5 %) [358, с. 89]. М. Грох картографировал места рождения активистов национального движения, при этом около половины родилось в Сувалках, где проживало лишь 15,0 % всех литовцев. В то же время на Виленщине — 1,5 % [358, с. 93]. В данном случае решающее значение имел не уровень экономического развития, который, как уже отмечалось, в Сувалках был сравнительно низким, а более ранняя отмена крепостного права, а также специфика политического режима (отсутствие ограничительных законов по отношению к католикам, вследствие административной принадлежности к «Привислинским губерниям»), равно как и более либеральная (по сравнению с Ковенщиной и Виленщиной) национальная политика российской администрации.

О размахе литовского движения часто судят по интенсивности книгоиздательской деятельности в Восточной Пруссии, точнее, по количеству конфискованных экземпляров этих изданий российской полицией. Действительно эти цифры не могут не впечатлять: с 1891 по 1899 г. было задержано свыше 117 тыс. экземпляров [375, с. 247]. В. Родкевич приводит в своей монографии данные, собранные литовским исследователем В. Меркисом: с 1865 по 1894 г. в восточной Пруссии было опубликовано 402 издания на литовском языке специально для переправки на российскую территорию [381, с. 176]. Не менее красноречивы сведения о количестве распространителей нелегальной литературы: с 1890 по 1897 г. Виленский суд осудил более 200 чел. по обвинению в контрабанде, продаже и хранении литовской литературы [381, с. 176]. Естественно, необходимо учитывать, что далеко не вся эта литература была собственно национальной по содержанию. Значительную часть ее составляли религиозные книги. Более того, католическое духовенство негативно относилось к изданию журнала «Au§ra», а отдельные священники даже подвергали экземпляры журнала сожжению [398, с. 324]. Его редактор Й. Басанавичюс отмечал нежелание контрабандистов, перевозящих литовские книги через прусско-российскую границу, иметь дело с журналом «AuSra» и подобными изданиями [398, с. 324]. К этому необходимо добавить, что, по мнению А. Валентеюса, «несмотря на лингвистические различия большинство литовского населения не сопротивлялось процессу ассимиляции» [398, с. 322]. Литовские крестьяне в общественной жизни предпочитали говорить по-польски или по-немецки и стыдились литовского языка. Они

далеко не сразу воспринимали перевод богослужения на литовский язык, воспринимая его как десакрализацию самого культа. К этому необходимо добавить беспрецедентные меры со стороны российской администрации, ограничивающие издание литературы на литовском языке и даже домашнее обучение на нем. В этой связи литовское национальное возрождение представляется явлением уникальным. Наиболее трудно объяснима буквально феноменальная по своей энергичности активность литовской интеллигенции, малочисленной и распыленной. А. Валентеюс со ссылкой на Р. Вебру отмечает, что более **60,0** % врачей и занятых в сфере науки, литературы и искусства литовцев по происхождению жили за пределами Литвы [298, с. 329]. Наличие такого фактора как Восточная Пруссия в качестве литовского «Пьемонта» действительно имело огромное значение. Однако литовские книги и журналы печатались и в других местах, например в Америке, где вышла «История Литвы» Ш. Даукантаса, а также в Казани и Кракове [375, с. 248]. Кроме того, в Восточной Пруссии литовцы подвергались куда более масштабной ассимиляции, чем в Российской империи: за период с начала 1840-х до 1900-х гг. их численность в результате германизации сократилась с 253 тыс. до 106 тыс. чел. [58, с. 183].

Латвия и латыши

Латвия по уровню экономического развития была самой развитой территорией восточной части Центрально-Восточной Европы. И дело даже не в значении Риги, чей торгово-промышленный оборот превышал по объему белорусский. Высоким был уровень развития сельских регионов. Так, в «латышской» части Лифляндской губернии он составлял в среднем **34,1** руб. в год на человека, в Курляндской — 61,4, в Латгалии («инфлянтских» уездах) — **26 [228].**

Население Латвии к 1897 г. составило 1 929 **387** чел. Латыши были крупнейшей группой населения (68,3 %), вслед за ними шли русские (8,0 %), немцы (7,4 %), евреи (6,0 %), белорусы (4,1 %) и поляки (3,1 %). Характерная особенность — относительно высокий уровень урбанизации. В целом в городах жило 28,1 % населения, в том числе в Лифляндии 40,7 %, Курляндии — 23,1 %, «инфлянтах» — **17,0** % **[158].**

Латыши отличались самым сложным конфессиональным составом из всех народов восточной части Центрально-Восточной Европы. Большую часть их составляли лютеране (76,9 %), 18.7 % — католики, 4,2 % — православные. Соотношение кон фессиональных групп зависело от региона. Так, в Латгалии като лики составляли 84,6 % латышей (лютеране — 12,6 %), а в Лифляндии доля православных доходила до 8,0 % . Почти 16,0 % всех латышей жили в городах и составляли там 38,3 % населения, в том числе в Курляндии — 42,2 % всех горожан, Лифляндии — 46,2 % , в Латгалии — 14,4 % . Характерная черта латышей — ис ключительно высокий уровень грамотности —■ 74,0 %, который, впрочем, существенно различался по регионам: в Лифляндии — 79.7 %, Курляндии — 75,7 %, «инфлянтах» — 44,3 % . При этом 42,2 % грамотных латышей указали языком грамотности рус ский (в Курляндии — 42,4 %, в Лифляндии — 46,9 %). Латыши имели чрезвычайно большое количество лиц с «образованием вы ше начального» — 6148, или 46,6 на 10 тыс. Однако если в Лиф ляндии этот показатель составил 64,1, Курляндии — 48,1, то в Латгалии только 5. Латыши располагали также значительным количеством лиц, занятых в интеллектуальной сфере — всего 4943 чел., в том числе 1942 учителя и 895 врачей. При этом, нап ример, в Курляндской губернии латыши составляли 45,1 % чи новников, 36,0 % юристов, 38,7 % учителей, 51,0 % деятелей ли тературы, искусства и науки, 30,6 % врачей.

Русские занимали заметное место в системе этносоциальных отношений в Латвии, однако их значение не сопоставимо с аналогичным в Украине, Беларуси и Литве. Так, в Курляндской губернии русские составляли лишь 17,3 % чиновников, 9,9 % учителей, 6,0 % врачей, 8,0 % купцов.

В то же время немцы контролировали ведущие позиции в экономике, об этом свидетельствует то, что, например, в Курляндской губернии они составляли 70,6 % представителей купеческого сословия. На долю немцев приходилось 19,3 % чиновников, 37,2 % учителей, 50,1 % врачей и 48,1 % юристов.

В то же время еврейское население было не только относи-' тельно малочисленным, но и слабо представленным среди ключевых социальных позиций. Евреи (в Курляндской губернии) составляли 15,0 % купцов, 3,7 % юристов, 5,7 % учителей и 0,3 % врачей.

Таким образом, высокий уровень модернизации, грамотности в сочетании с особенностями этносоциальной структуры объективно благоприятствовали развитию латышского национального движения. Они оказались более значимыми, чем внутренние региональные и конфессиональные различия, хотя последние и наложили существенный отпечаток на характер формирования латышской нации.

Как следствие — латышское национальное движение развивалось динамично и сравнительно быстро приобретало массовые формы. В 1868 г. было создано Рижское латышское общество, в 1873 г. проведен первый песенный фестиваль. Отсутствие литературной традиции, «историчности» не стали помехой в развитии национального движения. Относительная бедность фольклора на героико-исторические сюжеты (сравнимыми с эстонским «Калевипоегом») компенсировалась целенаправленным мифотворчеством: так, в 1888 г. поэты А. Пумпурс и Й. Лантенбокс опубликовали стилизованную под народное творчество поэму о Лачплесисе — герое борьбы с нашествием крестоносцев [378, с. 244]. В 1892 г. был открыт латышский этнографический музей. Быстро развивалось издательское дело: если в **1884** г. было опубликовано 181 издание на латышском языке общим тиражом **168** тыс. экземпляров, то в 1904 г. — 822 с тиражом 5 млн экземпляров [378, с. 252]. Пример латышского движения свидетельствует, что высокий уровень модернизации позволяет сложиться нации без каких-либо «исторических» предпосылок в виде памяти об утраченной государственности или использования какого-либо «Пьемонта». Основой национальной культуры и идентичности может быть исключительно язык и культура крестьянства, в том случае, когда существует баланс между «генераторами» национальной идеи и готовой ее воспринять аудиторией.

Эстония и эстонцы

Хотя Эстония и уступала Латвии по уровню экономического развития, ее средние показатели были достаточно высокими. Крупных городов в Эстонии не было, поэтому уровень развития был более равномерным. В Латвии на долю Риги приходилось 67,5 % всего торгово-промышленного оборота, в Эстонии на Таллин — только 47,6 %. Средний показатель сельских районов «эстонской» Лифляндии составлял **61,4** руб. в год на человека, в Эстляндской губернии — 38,8 руб. [228].

Население Эстонии к 1897 г. составило 958 351 чел., из них эстонцы составляли 90,5 % (это наивысший показатель среди народов восточной части Центрально-Восточной Европы), русские — 3,9 %, немцы — 3,8 %, евреи — 0,3 % населения. Характерно, что и среди городского населения (15,5 % населения) эстонцы составляли большинство (67,4 %), немцы — 16,2 %, русские — 10,8 %, евреи — 2,3 % [158].

Значительную часть эстонцев (сопоставимую с католиками среди белорусов) составляли православные (12,2 %), остальные — лютеране. Отличительная черта эстонцев — наивысший уровень грамотности среди всех народов Российской империи (80,0 %), при этом 23,7 % грамотных указало языком грамотности русский. Среди эстонцев было 3442 чел. с «образованием выше начального», 1173 чиновника и 2418 занятых в интеллектуальной сфере (в том числе 1740 учителей и 435 врачей). В Эстляндской губернии эстонцы составляли 52,4 % чиновников, 37,9 % юристов, 33,0 % лютеранских священников, 46,6 % учителей, 19,5 % занятых в сфере науки, литературы и искусства и 34,5 % врачей.. Вместе с тем среди купечества эстонцы составляли только 15,1 %.

В то же время немцы, даже утратив монопольный контроль над земельной собственностью (к XIX в. крестьянам принадлежало 83 % земли в Лифляндской и 50 % в Эстляндской губернии) сохраняли доминирующие позиции в промышленности и торговле [380, с. 288]. Немцы (в Эстляндской губернии) составляли 62,7 % купцов, 61,8 % дворян, 50 % юристов, 63,9 % священников, 33,8 % учителей, 52,7 % занятых в сфере науки, литературы и искусства.

Позиции русских представляли определенное значение в сфере управления (33 %) и экономической сфере (17 % купцов). Значение евреев в системе этносоциальных отношений было минимальным и наименьшим среди всех регионов восточной части Центрально-Восточной Европы: в Эстляндской губернии евреи составляли лишь 2,7 % сословия купечества.

Таким образом, положение эстонцев в этносоциальной структуре населения своего региона было, пожалуй, самым выгодным, что в сочетании с высоким уровнем экономического развития и грамотности создавало благоприятные условия для формирования национальной общности.

Вследствие этого эстонское национальное движение развивалось едва ли не интенсивнее, чем все остальные в регионе. Оно

быстро приобрело массовые формы, одной из которых стала традиция проведения массовых песенных фестивалей. В 1869, 1874, 1880 гг. они собирали 10—15 тыс. участников, а в 1894 г. — 50 тыс. (sic!) [380, с. 331]. В 1871 г. был основан Комитет эстонской средней школы «Eesti Aleksandriskool», а годом позже Эстонское литературное общество. Эти явления были обусловлены качественными сдвигами в развитии эстонской интеллигенции. Ее численность стала достаточной для объединения в социальную группу, снизилась ее зависимость от немецкой культуры. Количество членов литературного общества всего лишь за четыре года, с 1878 г. по 1882 г., увеличилось с 280 до 1118 чел., при этом 24,3 % из них были учителями, 19,6 % — крестьянами [358, с. 78]. В 1878 г. С. Якобсон основал издание первого массового национального журнала «Sakala», численность его подписчиков к 1881 г. составила 4500 чел. [401, с. 138]. Характерно, что издание журнала финансово поддерживало свыше 350 чел., среди которых 30,7 % составляли учителя, 29,5 % — крестьяне [358, с. 79]. Т. Раун подчеркивает, что социальную базу эстонского национального движения составили крестьяне и школьные учителя. А его движущей силой стали дети учителей, получившие высшее образование, и поселившиеся в городах юристы, журналисты, врачи [380, с. 289, 291]. Потенциальная численность последней группы совсем незначительна: по переписи 1897 г. всего чуть более 560 чел. (том числе 57 юристов и 69 занятых в сфере науки, литературы и искусства). Однако ее было вполне достаточно не только для организации массового национального движения, но и реализации таких проектов, как издание Эстонской энциклопедии, первый том которой был опубликован в 1900 г. Пример эстонцев еще раз свидетельствует о том, что важна не концентрация интеллигенции, ни ее «критическая масса» (у эстонцев лица с «образованием выше начального» составляли всего лишь 0,38 %), а прежде всего «модернизационная» готовность широкой аудитории к национальной мобилизации.

Словакия и словаки

К сожалению, провести сравнительный анализ экономического развития Словакии и восточной части Центрально-Восточной Европы не представляется возможным. Однако ряд показателей свидетельствует о том, что уровень модернизации Словакии был

достаточно высоким. К 1900 г. 21,6 % всего населения жило в городах, 12,9 % составляли рабочие [361, с. 21, 78].

Общая численность населения составляла 2782 тыс. чел. Этническая принадлежность, также как и в Российской империи определялась по «родному языку». Крупнейшими этническими группами были словаки (60,8 %), венгры (27,2 %), немцы (7,6 %), русины (3,0 %). Евреи, как правило, родным языком указывали немецкий или венгерский, удельный вес иудеев составлял 5,0 %. В Братиславе (всего 61,5 тыс. жителей) крупнейшую группу составляли немцы (50,4 %), за ними следовали венгры (30,5 %) и словаки (16,2 %). В Кошице в 1890 г. доля словаков доходила до 25,0 % , в Нитре — 43,1 % , в Тренчине-60,0 % [361, с. 24]. Крупнейшая городская община словаков проживала в Будапеште — 24 тыс. чел. [361, с. 25]. Всего порядка'8,0 % словаков были горожанами [401, с. 78]. Словаки располагали достаточно многочисленной интеллигенцией (по сравнению с народами западной окраины Российской империи). М. Вальденберг отмечает, что ее было мало — всего лишь 1,2 % словаков, и это негативно сказалось на развитии национального движения [401, с. 78]. Но у эстонцев ее удельный вес был в 3 раза ниже, и этого оказалось вполне достаточно. В архивах МВД Венгрии зафиксировано 526 активистов словацкого национального движения, из которых 400 имели высшее образование, в том числе 36,0 % составляли священники, 22,0 % юристы, 14,0 % учителя, 6,0 % врачи, 14,0 % банковские служащие [361, с. 35]. Вместе с тем в структуре своих профессиональных групп словаки были представлены значительно меньше своей доли в общем составе населения Венгрии (9,4 %). Из 159 тыс. чиновников, юристов, врачей и учителей словаков было лишь 2,1 %. Показательно, что согласно переписи 1900 г. словаки составляли только 40 из 5000 врачей и 70 из 9000 юристов, из 526 судей не было ни одного словака [361, с. 36].

После 1868 г., когда было объявлено, что «все граждане Венгрии составляют единую, неделимую унитарную венгерскую нацию», словаки подверглись чрезвычайно энергичной мадьяризации, при этом лингвистические отличия от венгров (не меньшие, чем например литовцев от русских) не стали значительным препятствием, так как венгерские власти в условиях высокого уров-

ня модернизации активно использовали в этих целях систему народного образования [335, с. 62]. С 1879 г. изучение венгерского языка стало обязательным в начальных школах. С конца 1860-х до 1900-х гг. численность школ со словацким языком обучения сократилась с 1800 до 528 [401, с. 78]. В 1875 г. были закрыты словацкие гимназии, ликвидировано культурно-просветительское общество «Matica Slovenska», а имущество его было конфисковано. Наиболее одиозной формой ассимиляции стали так называемые «детские экспедиции», когда под предлогом благотворительности детей из малоимущих словацких семей передавали на воспитание в Венгрию [238, с. 265]. В результате на протяжении 1880—1900 гг. удельный вес словацкого населения в Словакии сократился с 63,0 % до 60,8 %, а венгерского вырос с 23,3 % до 27,2 %. Согласно переписи 1900 г. 14,9 % словаков владели венгерским языком. Мадьяризация затронула, прежде всего, интеллигенцию и городское население. В сельской местности словацкий язык сохранял свои позиции, неизменной оставалась и этнографическая граница с венграми [361, с. 27]. Хотя политика венгерских властей фактически затормозила развитие словацкого национального движения, она не смогла уничтожить его полностью. Характерной формой национальной активности стало создание национальных банков. Так, созданный в 1886 г. Р. Марковичем народный банк финансировал Словацкий национальный дом (культурный центр), поддерживал материально распространение словацких газет среди крестьянства. При этом банк Р. Марковича оказался жизнеспособным предприятием: за 20 лет его капитал увеличился более чем в 30 раз [381, с. 44]. Определенное оживление словацкого национального движения наступило в конце XIX в. В 1893 г. в г. Турчанский Мартин было создано Музейное словацкое общество, возродившее традиции «Matica Slovenska».

* * *

Проведенный сравнительный анализ экономических и социальных условий развития национальных движений и процессов формирования наций позволяет сделать ряд важных выводов. Интенсивность артикулирования национальной идентичности и отстаивания национальных интересов и т. д. не зависят напрямую от уровня экономического развития, социальной модерниза-

ции общества, масштабов социальных ресурсов (интеллигенции), наличия исторически значимых мифов, степени вмешательства государственной политики, лингвистической близости к доминирующей в политическом и культурном отношении этнической группе. В каждом конкретном случае решающую роль сыграл один отдельный или сочетание нескольких факторов. Вместе с тем, в чем нельзя не согласиться с М. Грохом, развитие национального движения едва ли возможно при отсутствии некоторого минимума модернизированности, в том числе минимума интенсивности развития рыночных отношений. В этом контексте значительная часть территории Беларуси так этого минимума и не достигла. Необходимым условием формирования национальной общности является наличие баланса между теми, кто способен генерировать социально ожидаемые национальные мифы, и критической массой тех, кто их может воспринять и кого они могут мобилизовать на целенаправленную политическую активность. Ключевое значение в данном случае имеет фактор массовой грамотности и, в том числе, грамотности женской

ГЛАВ А 5

ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В НАЧАЛЕ XX в.

Статистические источники начала XX в. не позволяют проводить столь масштабный сравнительный анализ, какой был возможен для предыдущего периода. Чаще всего они фрагментарны, что не позволяет представить целостную картину и, что самое главное, чрезвычайно тенденциозны. Последнее обстоятельство было вызвано социально-политическим кризисом, в условиях которого различные силы пытались интерпретировать ситуацию в своих интересах. Характерно, что в ряде официальных статистических материалов перестают фиксироваться белорусы и украинцы как категории учета населения, занижается численность польского населения [например **146]. В** то же время в других источниках, например в так называемой переписи **1909** г., к полякам отнесено практически все католическое население [313, с. 61—67].

Региональные особенности формирования белорусской нации в начале XX в.

Вместе с тем именно в начале XX в. в связи с развитием белорусского национального движения появляются источники, позволяющие не только проследить региональные особенности распространения белорусской идентичности, но и объяснить причины различий. Речь идет о территориальном распределении корреспондентов «Нашай швы» за **1910** г., когда поступило **666** корреспонденции из 231 населенного пункта [3, с. 158]. Эти данные соотнесены с материалами «Торговли и промышленности ...» и переписи **1897** г., которые хотя и не совпадают по времени со сведениями о корреспондентской сети, на наш взгляд отражают степень модернизационной и социальной «готовности» к развитию национальной консолидации.

В табл. 17 представлены обработанные данные «Торговли и промышленности...» региональных особенностей экономического развития (за основу взято региональное деление, представленное во второй главе).

Таблица 17

Торгово-промышленный оборот по регионам Беларуси

Регионы	Годовой оборот на душу населения, руб.
Западный	28,43
Восточный	28,61
Среднебелорусский	17,0
Западное Полесье	30,54
Центральное и Восточное Полесье	16,6

Обращает на себя внимание, что уровень развития Восточного региона даже несколько превосходил показатели Западного региона, а Полесье выглядело не столь уж безнадежно. Однако при этом необходимо учитывать, что крупные городские центры давали большую часть оборота. Например, в Западном Полесье на Брест, который составители «Торговли и промышленности...» причислили наряду с Гродно к «Привислинской полосе», приходилось свыше 70 % всего оборота, а в целом по Беларуси крупные города (Минск, Гродно, Витебск, Могилев, Гомель и Брест) давали 48,4 % оборота. Поэтому региональные тенденции лучше отражают данные по преимущественно аграрным регионам (табл. 18).

Материалы «Торговли и промышленности...» свидетельствуют, что для экономического развития Беларуси рубежа веков была характерна мозаичность, сильные регионы соседствовали в буквальном смысле с патриархальными. Абсолютный минимум развития товарно-денежных отношений в Беларуси представлял так называемый Беловежский район с населением 45 тыс. чел., где на каждую душу приходилось всего лишь 4 руб. оборота в год. Наряду с Камень-Каширским районом в Волынском Полесье Украины (107 тыс. чел.) это абсолютный минимум в масштабах всей восточной части Центрально-Восточной Европы.

Таблица 18

Торгово-промышленный оборот по регионам Беларуси (без учета крупных городских **центров**)

Регионы	Годовой оборот на душу населения, руб.
Западный	16,32
Восточный	14,14
Среднебелорусский	17,0
Западное Полесье	12,0
Центральное и Восточное Полесье	16,6

Слабые в экономическом отношении районы встречались как в Западном, так и в Восточном регионах. Удивляет в этом отношении исключительно низкий уровень развития таких районов, как Воложинский, Глубокский, Друйский и Диснянский (всего лишь по 8 руб. на чел.). На востоке особо выделялся Черейский (5 руб.), Чечерский (6 руб.), Сенненский (8 руб.), Климовичский (9 руб.) районы.

Из аграрных регионов наиболее развитым был Ошмянский район (40 руб.), приближавшийся по своим показателям к прибалтийскому уровню. Выше среднего был уровень развития Оршанского и Шкловского (по 25 руб.), Слонимского, Несвижского и Мозырского (по 23 руб.), Борисовского и Мстиславльского (по 21 руб.), Бобруйского и Речицкого (по 20 руб.) районов.

Среди крупных городских центров вне всякого сомнения лидировал Минский район (120 руб.), оборот которого (27 360 тыс. руб.) составлял 15,8 % всего товарно-промышленного оборота Беларуси. За ним следовал Витебск (97 руб.), Брест (88 руб.), Гомель (68 руб.), Гродно (62 руб.) и Могилев (55 руб.).

Таким образом, с точки зрения интенсивности развития рыночных отношений потенциальные возможности крупнейших регионов Беларуси: Западного и Восточного были примерно одинаковы.

Различия же в темпах развития национальной консолидации были обусловлены другими факторами, в первую очередь уровнем массовой грамотности (табл. 19).

Таблица 19

Региональное распределение грамотных среди белорусов по данным переписи 1897 г.

Регионы	Грамотные, %
Западный	18,78
Восточный	**11,39**
Среднебелорусский	9,21
Восточное и Центральное Полесье	**7,36**
Западное Полесье	16,85

Региональные различия в уровнях грамотности были в первую очередь обусловлены конфессиональным фактором. В целом из 642 тыс. грамотных белорусов католики составляли 29,07 % (при том, что удельный вес католиков среди белорусов составлял только 13,44 %). Грамотность среди белорусов-католиков доходила до 27,9 %, среди белорусов православных — только 11,42 %. Именно эта особенность обусловила особую роль католиков в формировании белорусской национальной идентичности и всей национальной общности в целом. При этом особое значение имел фактор женской грамотности, существенно варьирующий как в зависимости от региона, так и в первую очередь от конфессиональной принадлежности (табл. 20).

Таблица 20

Грамотность среди белорусов по данным переписи 1897 г.

Губернии	Грамотные среди православных, %			Грамотные среди католиков, %		
	Мужчины	Женщины	Всего	Мужчины	Женщины	Всего
Минская	16,86	2,45	9,60	27,58	15,86	21,73
Могилевская	19,91	2,81	11,19	30,22	15,29	22,77
Витебская	17,34	3,26	10,21	29,83	27,69	28,76
Гродненская	29,16	5,42	17,33	39,59	31,25	35,40
Всего	19,49	3,07	11,18	33,55	24,89	29,91

Если разница в грамотности между белорусами-католиками и православными была кратной почти трем, то между белорусками-католичками и православными — восьми. Заметна также определенная интерференция между конфессиональным влиянием. На востоке Беларуси, где доля католиков была незначительна и православие доминировало, удельный вес грамотных белорусок-католичек был в два раза ниже, чем на западе. И, наоборот, на западе, где католицизм если и не доминировал, то был достаточно влиятелен, доля грамотных белорусок православных была в два раза выше, чем на востоке. На эту тенденцию наслаивались и региональные особенности. Наименьшими показатели женской грамотности были среди белорусок Центрального и Восточного Полесья. В Пинском уезде они составляли всего 1,24 %, Мозырском — 1,47 %.

Таблица 21

Региональное распределение белорусов с «образованием выше начального» по данным переписи 1897 г.

Регионы	Белорусы с «образованием выше начального»		
	Всего, чел.	На 10 тыс. белорусов	Среди группы с «образованием ...», %
Западный	2434	14,0	14,26
Восточный	3860	25,0	25,59
Среднебелорусский	1213	15,0	23,16
Вост. и Центр. Полесье	687	**14,0**	22,49
Западное Полесье	126	**11,0**	3,27

Темпы развития национальной консолидации во многом определялись наличием социальных ресурсов развития национального движения, т. е. в первую очередь интеллигенции (табл. 21).

Как видно, региональное распределение «грамотных» и «образованных» белорусов не совпадало. Уровень грамотности среди белорусов был заметно выше на западе, а образованности — на востоке. На востоке было сконцентрировано до 46 % всех белорусов с «образованием выше начального». Это обстоятельство сильно повлияло на региональные особенности процесса формирования белорусской нации и стало одним из факторов, осложнивших его развитие.

Таблица 22

Региональное распределение белорусов, занятых частной юридической деятельностью, наукой, литературой и искусством по данным переписи 1897 г.

Регионы	Занятые частной юридической деятельностью			Занятые наукой, литературой и искусством		
	Всего, чел.	На **100** тыс. белорусов	Доля в профес. группе, %	Всего, чел.	На 100 тыс. белорусов	Доля в профес. группе, %
Западный	21	1Д	7,9	40	2,2	10,2
Восточный	28	1,7	14,1	32	2,3	10,1
Среднебелорусский	5	0,6	8,7	6	0,7	9,2
Вост. и Центр. Полесье	6	1,2	12,5	6	1,2	10,5
Западное Полесье	—	—	—	5	4,5	5,6

Так же как и в случае с распределением лиц с «образованием выше начального», видно, что в значительной степени этот социальный ресурс был сконцентрирован на востоке, где его активность не могла вызвать значительного резонанса, вследствие относительно низкого уровня грамотности населения (табл. 22).

Похожая ситуация сложилась и с региональным распределением учителей-белорусов (табл. 23).

Таблица 23

Региональное распределение белорусов, занятых учебной и воспитательной деятельностью по данным переписи 1897 г.

Регионы	Белорусы, занятые учебной и воспитательной деятельностью		
	Всего, чел.	На 100 тыс. белорусов	Доля в профес. группе, %
Западный	1058	59,4	19,7
Восточный	1249	79,3	24,1
Среднебелорусский	516	65,2	22,2
Вост. и Центр. Полесье	288	57,7	17,7
Западное Полесье	96	86,8	8,7

Как критическая масса, так и концентрация белорусов среди занятых в сфере образования возрастала с запада на восток. Показатели Западного Полесья следует рассматривать особо, вследствие специфики ситуации в регионе.

Региональное распределение белорусов-врачей в меньшей степени отражает эту тенденцию (табл. 24).

Таблица 24

Региональное распределение белорусов, занятых врачебной и санитарной деятельностью по данным переписи 1897 г.

Регионы	Белорусы, занятые врачебной и санитарной деятельностью		
	Всего, чел.	На 100 тыс. белорусов	Доля в профес. группе, %
Западный	484	27,1	24,6
Восточный	388	24,6	28,7
Среднебелорусский	155	19,6	23,7
Вост. и Центр. Полесье	102	20,0	23,9
Западное Полесье	46	41,6	11,5

Как уже отмечалось в предыдущей главе определенное воздействие на развитие национальной консолидации оказывает наличие потенциальных и реальных возможностей восходящей социальной мобильности для групп коренного населения. Одним из маркеров ее является представительство среди чиновников (табл. 25).

Очевидно, что и в данном случае позиции белорусов на востоке были значительно сильнее, чем на западе.

Показателем социальной мобильности является и представительство коренного населения в городах. Табл. 26 представляет

Таблица 25

Региональное распределение белорусов, занятых в администрации, суде и полиции по данным переписи 1897 г.

Регионы	Белорусы, занятые в администрации, суде и полиции		
	Всего, чел.	На 100 тыс. белорусов	Доля в профес. группе, %
Западный	1086	60,9	31,4
Восточный	1471	93,4	49,6
Среднебелорусский	516	65,2	47,6
Вост. и Центр. Полесье	229	45,9	34,1
Западное Полесье	184	166,4	22,1

Таблица 26

Региональное распределение белорусов-горожан по данным переписи 1897 г.

Регионы	Белорусы-горожане		
	Всего, чел.	В % ко всем белорусам	В % ко всему городскому населению
Западный	31184	1,7	13,3
Восточный	54892	3,5	24,8
Среднебелорусский	12198	1,5	14.5
Вост. и Центр. Полесье	5672	1Д	12,4
Западное Полесье	3181	2,8	4,9

обобщенные данные переписи 1897 г. по этому вопросу. И в данном случае социальные ресурсы национальной консолидации были значительно обширнее на востоке, чем на западе.

Определенное влияние оказывала и общая сословно-социальная структура региональных групп белорусов (табл. 27—29).

Таблица 27

Социально-сословная структура региональных групп белорусов по **данным переписи 1897 г. (в абсолютных цифрах)**

Регионы	Представители социально-сословных групп, чел.					
	Дворяне		Духо-венство	Купцы	Мещане	Крестьяне
	Потом.	Личн.				
Западный	39870	1794	1331	50	90234	1645974
Восточный	12323	2847	4369	102	81979	1468906
Среднебело-русский	20090	1478	1240	28	48387	718241
Вост. и Центр. Полесье	4734	340	801	20	49057	442254
Западное Полесье	284	97	108	25	2707	107175

Таблица 28

Социально-сословная структура региональных групп белорусов по **данным переписи 1897** г. **(в** % ко всем белорусам)

Регионы	Представители социально-сословных групп, %					
	Дворяне		Духо-венство	Купцы	Мещане	Крестьяне
	Потом.	Личн.				
Западный	2,24	0,10	0,07	0,00	6,68	86,01
Восточный	0,78	0,18	0,28	0,01	5,21	93,31
Среднебело-русский	2,54	0,19	0,16	0,00	6,12	90,79
Вост. и Центр. Полесье	0,95	0,07	0,16	0,00	9,84	88,71
Западное Полесье	0,26	0,09	0,1	0,02	2,45	96,95

Таблица 29

Удельный вес **белорусов в структуре социально-сословных групп по регионам по данным переписи 1897 г.**

Регионы	Представители социально-сословных групп, %					
	Дво	ряне	Духо-венство	Купцы	Мещане	Крестьяне
	Потом.	Личн.				
Западный	52.34	21,85	28.48	1,29	19,66	93,85
Восточный	47.47	29,95	56.13	2.02	22,57	94,32
Среднебелорусский	59,02	35,43	46,55	2,04	22,60	93,55
Вост. и Центр. Полесье	56,22	26,60	47,17	2,61	30,67	96,77
Западное Полесье	6,16	4,99	8,12	3,05	2,60	25,12

На сколько все эти факторы были существенны в определении темпов развития национальной консолидации показывает анализ территориального распределения корреспондентов «Нашай швы» за 1910 г. Всего за этот год было получено 666 корреспонденции из 291 населенного пункта, 222 из них находились на современной территории Беларуси (табл. 30).

Таблица 30

Региональное распределение корреспондентов «Нашай швы» за 1910 г.

Регионы	Населенные пункты, из которых пришли корреспонденции	
	Всего	В "/<> к общему количеству
Западный	166	74,7
Восточный	27	12,1
Среднебелорусский	15	6,7
Вост. и Центр. Полесье	6	2,7
Западное Полесье	8	3,6

Как видно, решающее значение имели не уровень экономического развития, и не потенциальные «интеллектуальные» ресурсы национального движения, а наличие ресурса его массовой аудитории. Набольшую активность в сотрудничестве с «Нашай швай» проявляли белорусы Западного региона, хотя здесь проживало только 37,4 % всей этнической группы. Решающее значение сыграл фактор грамотности, тут проживало 52,1 % всех грамотных

белорусов, а уровень грамотности (18,8 %) был почти на 40 % выше средних показателей. Естественно, что уровень грамотности был напрямую связан конфессиональным составом: в Западном регионе католики составляли почти 31 % всех белорусов. Однако преувеличивать католический фактор не следует. Наибольшее количество населенных пунктов, из которых пришли корреспонденции, были расположены в Слуцком уезде (39, или 17,5 %), где католики составляли лишь 9,5 % всех белорусов. Обращает на себя внимание то, что в целом в Ошмянском, Вилейском, Минском и Слуцком уездах было расположено почти столько же корреспондентских пунктов (48,2 %), сколько и на остальной территории Беларуси. Необходимо подчеркнуть, что распространение национальной идентичности проходило среди белорусов и за пределами современной территории Беларуси. В наибольшей степени это относится к Виленщине и в меньшей к Белосточчине. На территории Виленского уезда располагалось 48 корреспондентских пунктов (больше чем в каком-либо другом), Свенцянского — 7, Сокольского — 10, Вельского — 2. И это не случайно. Белорусы составляли 40,8 % сельского населения экономически активного Виленского уезда, 24,5 % из них были грамотными (это один из самых высоких показателей грамотности).

Виленский, Вилейский, Ошмянский, Минский и Слуцкий уезды представляли собой основное ядро национальной консолидации. Здесь родилась и выросла значительная часть активистов национального движения и творческой интеллигенции. Именно поэтому в диалектной основе белорусского литературного языка основное место заняли среднебелорусские говоры, особенно их северо-западная (минско-молодечненская) группа.

Что же касается остальных регионов, прежде всего Восточного, Среднебелорусского, Центрального и Восточного Полесья, то их относительная пассивность по отношению к национальному движению объясняется, прежде всего, нехваткой ресурса грамотной аудитории. Едва ли можно было ожидать значительного резонанса национальной идеи там, где 92,6 % белорусов были неграмотны, например, на территории Полесья. Сложнее, тем не ме-" нее, объяснить пассивность значительного по своим масштабам интеллектуального ресурса Восточного региона. Дело, видимо, не только в отсутствии достаточной аудитории. В силу традиционно сложившихся условий белорусы (образованные и обладающие достаточно высоким социальным статусом) здесь были лучше интегрированы в структуру официальных социальных институтов.

«Нашашуская» программа действий для них была чрезмерно радикальной. А собственные устремления не шли далее политически и культурно лояльного регионализма, нашедшего позднее свое отражение в программах таких организаций, как гомельский «Союз белорусской демократии», могилевский «Белорусский национальный комитет», витебский «Союз белорусского народа» [78; 213, с. 53].

Одним из наиболее интересных моментов этнической истории Беларуси рубежа конца XIX — начала XX в. является тенденция включения в процессы национальной консолидации населения Западного Полесья. Показательно, что на этот регион приходилось 3,6 % корреспондентских пунктов «Нашай швы» (это больше, чем на остальной, собственно этнически белорусской территории Полесья). При этом корреспонденции приходили и из Брестского и Кобринского уездов, где белорусское население было ничтожно малым. Уже во второй половине XIX в. статистические источники фиксируют сокращение удельного веса украинского населения в регионе. Так, в период с начала 60-х гг. и до конца XIX в. в Пружанском уезде он снизился с 30 % до 6 %. А с 1897 по 1913 г. общая численность населения, относимого к украинцам в западно-полесском регионе сократилась с 296 до 163 тыс. чел. При этом официальная статистика относит к белорусам подавляющее большинство населения не только Пружанского, но и Кобринского уездов [158, 146]. Характерно, что, начиная с 1903 г. и по 1913 г. практически все призывники на воинскую службу из региона Западного Полесья определяли себя как белорусов [145—147].

Показательно, что согласно переписи 1897 г. позиции белорусов в сфере управления и интеллектуальной деятельности здесь были сильнее, чем у украинцев. И это при том, что белорусов было всего 20,4 % населения региона, а украинцев — 54,7 %, среди чиновников их представительство было соответственно 22,1 % и 13,9 %, православного духовенства — 15,9 % и 3,8 %, врачей — 11,5 % и 9,2 %, и только среди учителей украинцев было больше (9,7 %), чем белорусов (8,7 %). Не менее показательно, что в Брестском уезде, где удельный вес белорусов не превышал 1,8 % населения, они составляли 29,7 % православных священников, 10,5 % чиновников и 5,4 % учителей [158].

Распространявшаяся белорусская идентичность имела, по большей части, не национальный, а территориальный характер, по принципу «белорусы — потому что живем в Беларуси». При

этом население Западного Полесья сохраняло не только свои языковые и культурные особенности, но осознание своего отличия от населения остальной части Беларуси. Об этом свидетельствует, например, содержание заметки, присланной в «Нашу шву» из деревни М. Городец Кобринского уезда. Ее автор, сравнивая свой уезд с «чистой Беларусью», отмечал, что его коренное население составляют «полешуки», язык которых ближе к украинскому [136]. О сохранении локальных самоназваний свидетельствуют производные от них псевдонимы, типа полешук, пинчук, бужанин [137, 138]. Распространению представлений об определенной общности с белорусами способствовала ориентация местной интеллигенции на сотрудничество с «Нашай швай». Только в 1908 г. в газете было опубликовано 18 корреспонденции из Брестского и Кобринского уездов, в том числе из Бреста, Лышчиц, Кустына, Остромечева, М. Городца и т. д. Большое значение в данном случае сыграло создание в д. Остромечево библиотеки Павленкова — одной из первых сельских библиотек в Беларуси. Масштаб ориентации на белорусское национальное движение не следует преувеличивать. Вместе с тем очевидно, что хотя влияние белорусского движения было ограничено, оно значительно превосходило по своему масштабу украинское. Характерно, что Л. Василевский отмечал, что «в то время как национальные украинские издательства из Киева этому населению абсолютно неизвестны, тут есть читатели «Нашай швы» [402, с. 295].

Рассматривая регион Западного Полесья, нельзя не упомянуть, наряду с возможностями пробелорусской и проукраинской ориентации, опцию собственно западнополесского национально-культурного развития, проявившуюся значительно позднее — в конце XX в. Единственным косвенным свидетельством зарождения таких настроений в среде местной интеллигенции является упоминание Л. Василевским факта издания в 1906 г. в Пинске полешуцкого букваря («Elementarz w nareczu Poleszukow») [402, с. 295]. Впрочем, сам Л. Василевский считал, что его появление — заслуга «польского культурного деятеля» [там же]. С. Снапковская датирует его издание 1907 г. и сообщает, что он был напечатан латинским шрифтом и имел название «Rusinski lemantar. PyciHCKi лемантар. Napisau Staryj Hospodar» и что автор его подчеркивал: по этому «лемантыр1 повинни учитися читати Всі Полешуки» [202, с. 123]. Хотя сведений,подтверждающих реальность публикации, недостаточно, полностью игнорировать этот факт едва ли будет правильным.

Отметим, что уровень грамотности среди украинского (полешуцкого) населения был относительно высоким — 15,2 %, т. е. выше, чем в среднем у белорусов. Местная украинская (полешуцкая) интеллигенция и чиновничество, хотя и была слабо представлена в официальных структурах, все-таки представляла собой определенную социальную силу: 116 чиновников, 1 юрист, 14 православных священников, 106 учителей и 37 врачей (всего 274 чел., в том числе 191 с «образованием выше начального»). Так что определенные потенциальные возможности для артикуляции собственно западнополесского пути национально-культурного развития уже существовали, а поэтому появление полешуцкого букваря представляется достаточно реальным.

Русификация и полонизация

В начале XX в., с появлением более-менее постоянно действующих политических организаций, книгоиздательства и периодической печати, белорусское национальное движение действительно превращается в социально значимое движение, т. е. поступательный, непрерывный процесс. Многие составляющие этого процесса обстоятельно изучены, например, политическая и культурная, в работах Ю. Туронка, Н. Сташкевича, С. Александровича, С. Рудовича, А. Смоленчука, другие — меньше (социальная композиция участников движения) [1, 2, 184, 185, 186, 197, 198, 213, 214, 394, 395]. Едва ли это означает, что полномасштабная история белорусского национального движения уже написана. Однако это не входит и в наши задачи. Нас интересуют, прежде всего, те показатели уровня его развития, которые могут быть сравнимы с другими аналогичными движениями. На начало XX в. это чаще всего реальные результаты участия в политической борьбе, количество изданий на национальном языке, включая периодические и их тиражи.

Что касается политической активности, то показатели белорусского национального движения немногочисленны. Еще Н. Вакар отмечал в качестве специфической черты белорусского движения, что оно было одним из немногих среди народов Российской империи, чьи представители практически отсутствовали в Государственной думе [397, с. 87]. Что касается других избирательных кампаний, то документально исследованы результаты выборов в Учредительное собрание в 1917 г. по Минскому, Моги-

левскому и Витебскому избирательным округам, когда белорусские национальные партии и объединения набрали 19 тыс. (0,59 %) голосов избирателей и при помощи выборов лишь подтвердили свой списочный состав [185, с. 164]. Результаты издательской активности обстоятельно проанализированы С. Александровичем. По его подсчетам в 1907—1916 гг. белорусские издательства «Загляне сонца і у наша аконца», «Наша хата», «Наша шва» и другие опубликовали 179 изданий общим тиражом 286 тыс. экземпляров [2, с. 207, 208]. Причины отставания белорусского движения, что будет показано ниже, многообразны. Нам бы хотелось остановиться на тех тенденциях в этнической истории Беларуси, которые на это, безусловно, повлияли — а именно на процессах ассимиляции белорусов.

В начале XX в., и особенно после революции 1905—1907 гг. значительно интенсифицировалась русификация белорусского населения. Это подтверждается рядом статистических источников. Среди них — однодневная перепись начальных школ 1911 г. Она представляет собой скорее масштабный социологический опрос, цель которого — выяснить потребности в школах с нерусским языком обучения. Естественно, что министерство просвещения, проводившее опрос, было заинтересовано в сохранении как можно большего количества школ с русским языком обучения. Среди всех ведомств Российской империи именно министерство просвещения в наибольшей степени отстаивало позиции бюрократического национализма [например 381]. Однако возможность манипулирования мнением учащихся и родителей значительно варьировала на различных этнических территориях, что будет показано ниже. И, следовательно, материалы однодневной переписи 1911 г. отражают не только настроения чиновников министерства просвещения, но реальные тенденции этнического развития.

Всего на территории Беларуси переписью была охвачена 321 тыс. учащихся [подсчитано автором по 151]. Были собраны данные об этническом, конфессиональном и сословном составе. По всем этим критериям состав учащихся отличался от данных переписи 1897 г. Так, крестьяне составляли 86,0 % всех учащихся, хотя их доля в структуре населения составляла только 76,4 %, мещане 10,4 % (против 20,0 %), купцы 0,05 % (против 0,18 %), духовенство 0,29 % (против 0,77 %), дворяне 1,3 % (против 2,6 %). Серьезные отличия существовали в конфессиональной структуре: доля православных (85,4 %) среди учащихся значительно превышала их удельный вес среди всего населения

(70,8 %), а других конфессий — наоборот. Католиков, староверов и иудеев было вдвое меньше среди учащихся, чем в реальности: соответственно 6,7 % (против 13,5 %), 0,5 % (против 1,0 %), 5,9 % (против 14,1 %). Таким образом, данные переписи отражают, прежде всего, настроения среди крестьян православного вероисповедания. При этом удельный вес учащихся, считавших родным белорусский язык, составил лишь 59,1 % (против 73,2 %), а русский — 29,0 % (против 4,3 %). Таким образом, доля русских среди учащихся была в 6,7 раза выше, чем в структуре населения. Она естественно могла быть выше, так как согласно с данными переписи 1897 г. русские были одной из наиболее образованных групп населения. Однако региональный анализ материалов однодневной переписи 1911 г. показывает, что в большей степени это было именно отражение процессов русификации: в Среднебелорусском регионе русские составляли 30,7 % учащихся, белорусы — 61,1 % , в Восточном соответственно 42,6 % и 50,0 %, а в Центральном и Восточном Полесье удельный вес русских (44,0 %) превысил долю белорусов (43,1 %). В то же время в Западном регионе, там, где российской администрации, исходя из политики «разобщения католицизма и полонизма», было выгодно наличие белорусов, они составляли 75,0 % учащихся (77,0 % в этнической структуре). При этом удельный вес русских среди учащихся (12,5 %), хотя не был таким высоким как на востоке, все равно значительно превышал долю русских в структуре населения (3,4 %). Характерно, что однодневная перепись зафиксировала дальнейшее изменение общественных настроений в пользу белорусской опции среди населения Западного Полесья: только 21,3 % учащихся назвали родным языком украинский, а 56,0 % — белорусский. В 1897 г. это соотношение было соответственно 54,7 % к 20,4 %.

То, что русификация носила региональный характер и в наибольшей степени затронула восточную часть Беларуси, свидетельствуют и другие источники. По подсчетам С. И. Брука и В. М. Кабузана с 1897 по 1917 г. численность белорусов в Могилевской губернии сократилась с 82,4 % до 50,3 %. При этом особенно заметное снижение произошло в Могилевском, Гомельском и Рогачевском уездах [23, с. 29]. Характерно, что эти данные в определенной степени совпадают с результатами однодневной переписи 1911 г.

Другой, не менее значимой угрозой стала полонизация белорусского католического, включая относительно недавно перешед-

шего в православие населения. Хотя реальные возможности полонизации были несопоставимы с ресурсами русификации, их воздействие оказывалось достаточно эффективным.

Одним из средств ассимиляционного воздействия стали польские нелегальные школы. Примеров тайного обучения более чем достаточно. Так, только в Минской губернии с января по июль 1906 г. было обнаружено и закрыто 24 нелегальные школы, в которых обучалось свыше 350 чел. [118]. Как правило, эти школы располагались в помещичьих имениях, реже — в городах. Большой размах тайного обучения объяснялся сохранением высокого престижа польского языка, особенно среди католического населения. «В Виленской, Гродненской и большей части Минской губерний, — отмечалось в 1905 г. в «Виленском вестнике», — каждый крестьянин-католик считает для себя позором не уметь говорить и читать по-польски» [28].

Важнейшую роль в полонизации по-прежнему играла католическая церковь. Вследствие либерализации политического режима после указа «О веротерпимости» на протяжении 1905—1909 гг. многие тысячи православных верующих перешли в католичество. Статистические данные, отражающие этот процесс, достаточно противоречивы, что отмечает В. Яновская, однако ясно, что речь идет о десятках тысяч человек (данные колеблются в пределах от 30 до 62 тыс. чел.) [322, с. 106]. В начале XX в. по всей территории Беларуси развернулось массовое строительство новых и реставрация старых костелов. Хотя точных данных о его масштабах собрать не удалось, ясно, что речь идет о многих десятках, если не сотнях новых храмов. Новые сооружения, например, так называемый Красный костел в Минске, костелы в Видзах, Гервятах, Старых Василишках, Лынтупах, Беняконях и т. д. отличались не только высокими архитектурно-художественными достоинствами, но и производили огромное впечатление на современников (впрочем как и сегодня) своими размерами.

С достаточной очевидностью позиция католических священников проявилась в вопросе о языке преподавания Закона Божия для католиков. По свидетельству попечителя Виленского учебного округа, инспектировавшего Дриссенский уезд, «назвавшие первоначально природным языком белорусский, под влиянием угроз ксендзов объясняют, что они поляки» [173, л. 9]. Деятельность католических священников содействовала консервации представлений о тождественности конфессиональной и этнической принадлежности. Характерно в этом отношении письмо крестьян д. Городище Пинского уезда минскому губернатору. «Просим о преподавании в народном училище Закона божия на польском языке, писали они в 1910 г., — ввиду того, что в нашем обществе большинство — католики» [117, л. 9].

Значительную роль сыграло польское национальное движение, достигшее высокого уровня развития, о чем свидетельствовали не только политическая и культурная активность, но и создание массовых спортивных (считай в будущем силовых структур) организаций [390].

Развитие ассимиляционных тенденций в определенной степени было связано притоком иммигрантов из Польши, которым ряд помещиков предлагали землю в аренду на льготных условиях. По мнению Н. А. Тизенгаузена, переселенцы из Польши составляли не менее 18 % польского населения Беларуси и Литвы [223, с. 21].

В результате воздействия этих факторов численность населения, относившего себя к полякам, в начале 1910-х гг. значительно увеличилась. Более-менее достоверные сведения имеются только по городскому населению. Так, с 1897 по 1910 г. численность поляков возросла на 70 %, а удельный вес — на 1,5 % [подсчитано по 35]. Особенно значительные изменения произошли в 1910-е гг. Так, в Минске с 1897 по 1917 г. численность поляков возросла в 2,5 раза, а удельный вес — в 2 раза. При этом удельный вес белорусов снизился в 4 раза [подсчитано по 162]. Не менее показателен рост в этот же период доли поляков в структуре городского населения Могилевской губернии с 2,7 % до 9,1 % [подсчитано по 36]. Безусловно, что рост численности польского населения в данном случае был отчасти связан с волной беженцев из Западной Беларуси, однако полностью объяснить этим этот феномен вряд ли представляется возможным.

Таким образом, в начале XX в. наряду с наметившейся тенденцией усиления национальной консолидации белорусов, активно развивались процессы их русификации и полонизации. Впрочем, такая ситуация была характерна не только для белорусов.

Украина и украинцы

В начале XX в. произошло заметное оживление украинского движения, что выразилось в создании ряда организаций, включая политические партии. Некоторые из них, например Революционная украинская партия (1900 г.) развернула активную про-

пагандистскую деятельность. В период с 1900 по 1905 г. она издала 38 брошюр общим тиражом 190 тыс. экземпляров [38, с. 84]. Во время выборов в I и II Государственные думы украинские активисты выступили в союзе с кадетами. Им удалось не только стать депутатами, но и организовать крупнейшую «не русскую» фракцию, насчитывавшую свыше 40 чел. Основу ее политической платформы составляли требования автономии Украины [38, с. 89]. О масштабе деятельности украинского национального движения красноречиво свидетельствует тот факт, что осенью 1907 г. существовало 15 украинских издательств и выходило около 20 периодических изданий [38, с. 89]. Впрочем, М. Вальденберг отмечает относительную слабость украинского движения. Общий тираж изданий на украинском языке занимал лишь восьмое место в Российской империи, уступая латышской, эстонской и татарской книжной продукции [401, с. 115]. Украинскому национальному движению не удалось «разбудить» украинскую интеллигенцию, большая часть которой относилась к национальному вопросу индифферентно [401, с. 116]. Я. Грицак, ссылаясь на собранные полицейскими агентами сведения, пишет о наличии на начало XX в. 438 активистов национального движения (на территории России) [38, с. 84]. Исходя из этого, в движении было задействовано лишь около 0,1 % от потенциально возможного числа участников (имеется в виду численность лиц с «образованием выше начального»).

Развитие национальной консолидации во многом сдерживалось активизацией ассимиляционных процессов, о чем свидетельствуют данные однодневной переписи начальных школ 1911 г. На Украине было опрошено 1131 тыс. учащихся. Так же как и в Беларуси доля детей дворян (0,64 %), духовенства (0,3 %), купцов (0,09 %) и мещан (11,5 %) среди опрошенных была меньше, чем в общей структуре населения (соответственно 1,4 %, 0,4 %, 0,27 % и 15,5 %) по данным переписи 1897 г. В то же время совокупный удельный вес детей крестьян (76,3 %) и казаков (9,6 %) был выше, чем их представительство в социальной структуре населения (81,1 %). Аналогичные отличия существовали и в конфессиональной структуре опрошенных: 89,1 % были православными (против 83,1 %), 0,5 % — староверы (0,6 %), 2,1 % — католики (3,6 %), 4,9 % — иудеи (8,5 %). Таким образом, так же как и в Беларуси, преимущественно объектом опроса стали дети крестьян православного вероисповедания. В то же время доля украинцев среди опрошенных учащихся (66,6 %) была

ниже, чем по переписи 1897 г. (74,7 %), а русских (21,4 %), наоборот, в два раза выше (10,7 %), что свидетельствует о развитии процессов русификации. В наибольшей степени они развивались в городах, где удельный вес украинцев среди учащихся составлял только 26,1 % (по сравнению с 32,2 % по переписи 1897 г.), а русских — 47,1 % (против 32,4 %). В региональном аспекте русификация активнее проходила в экономически наиболее развитых восточных и южных губерниях — Харьковской, Екатеринославской и Херсонской. Здесь удельный вес русских среди учащихся составил 28,6 % (украинцев только 56,2 %), в том числе в городах 55,7 % (украинцев 22,5 %).

Отметим, что и в Восточной Галиции, где уровень активности и организованности украинского движения был значительно выше, чем в надднепровской Украине, в конце XIX — начале XX в. наметилась тенденция сокращения украинскоязычного населения: с 1880 по 1910 г. его удельный вес снизился с 64,7 % до 58,9 %, а польскоязычного — вырос с 28,9 % до 39,7 % [341, с. 480].

Однако по сравнению с белорусским движением украинское достигло значительно более высокого уровня развития и, что самое главное, уровня готовности к целенаправленным политическим действиям: на выборах в Учредительное собрание в 1917 г. украинские национальные партии опередили все остальные и набрали 5 млн голосов [38, с. 117].

Литва и литовцы

В начале XX в. значительно активизировалось и литовское национальное движение. Это выразилось как в создании политических партий, так и в имевших значительный резонанс политических акциях. Среди них особое значение имел так называемый Виленский сейм 1905 г., на который собралось около 2 тыс. делегатов (отметим, что в 1890-х гг. насчитывалось порядка 250 литовских активистов). Тем самым литовское движение убедительно продемонстрировало серьезность своих намерений сделать г. Вильно в будущем столицей литовской автономии. И это при том, что в 1897 г. в Вильно литовцы составляли лишь 2,0 % жителей (3238 чел.) и только 153 из них имели «образование выше начального». Однако несмотря на это литовцам удалось превратить Вильно в один из центров своего движения. Неслучайно, что первая ежедневная литовская газета называлась именно

«Vilniaus Zinios» («Виленские ведомости»), тут было основано Литовское научное общество (1907 г.). Вообще, активность литовской национальной интеллигенции в контексте Центрально-Восточной Европы — явление феноменальное. Несмотря на свою абсолютную и относительную малочисленность ей удалось добиться массовой поддержки и мобилизовать различные социальные слои литовского общества для целенаправленных политических действий. По мнению многих исследователей, в том числе М. Вальденберга, литовское движение стало одним из первых (наряду с польским), выдвинувшим лозунг государственной независимости (июнь 1916 г.) [401, с. 294, 295].

Вместе с тем статистические источники свидетельствуют о том, что на массовом уровне этнические процессы развивались не столь однозначно. Однодневной переписью 1911 г. в Литве было охвачено около 62 тыс. учащихся. При этом, в отличие от Беларуси и Украины, сословные параметры опрошенных школьников в целом совпали с общими параметрами социальной структуры населения: 72,8 % детей крестьян (по сравнению с 73,2 % по переписи 1897 г.), 21,1 % мещан (20,1 %) и 4,0 % дворян (5,6 %). Вместе с тем католики среди учащихся (67 %) были представлены в меньшей степени, чем в общей структуре (76,1 %), а православные (6,4 % против 4,5 %), староверы (2,8 % против 2,1 %) и лютеране (5,5 % против 3,8 %), наоборот, в большей. Удельный вес иудеев среди учащихся (13,5 %) почти в точности соответствовал данным переписи 1897 г. (13,4 %). Что касается этнического состава учащихся, то удельный вес литовцев (43,5 %) был значительно ниже, чем их доля в структуре населения в 1897 г. (59,2 %). В то же время представительство всех остальных групп населения было более значительным, особенно это касается русских (10,1 % против 5,2 %), поляков (15,6 % против 10,3 %), и в меньшей степени белорусов (10,5 % против 9,1 %) и евреев (14,4 % против 13,3 %). Особенно заметным расхождение данных переписей 1911 г. и 1897 г. было на Виленщине, где литовцы составляли лишь 15,1 % учащихся (против 34,1 % населения), а поляки 22,1 % (против 14,3 %). При этом представительство белорусов на Виленщине (28,9 %) было почти что идентичным данным переписи 1897 г. (28,1 %). Недостаточное присутствие литовцев среди учащихся, естественно, можно интерпретировать как следствие традиционного их недоверия к официальной системе образования. В то же время нельзя исключить результат воздействия полонизации, особенно на территории Виленщины.

Латвия и латыши

В начале XX в. латышское национальное движение достигло чрезвычайно высокого уровня развития. Об этом красноречиво свидетельствует статистика издательской активности: в **1904** г. на латышском языке было опубликовано 822 издания общим тиражом 5 млн экземпляров **[378,** с. **352].** Только в **1905—1907** гг. выходило 102 периодических издания (в том числе 19 ежедневных газет) **[401,** с. **134].** Перед Первой мировой войной тираж некоторых журналов достигал **100** тыс. экземпляров. **В 1910** г. изданием латышской литературы занималось 79 издательств **[401,** с. 134]. Латышское движение не только успешно конкурировало с другими национальными проектами, но и объективно способствовало укреплению социальных позиций латышей.

Об этом в определенной степени свидетельствуют материалы однодневной переписи начальных школ **1911** г. Всего на территории Латвии было опрошено **109,6** тыс. учащихся. Дети крестьян (84,2 %) составляли подавляющее большинство из них, 13,4 % — дети мещан, 0,7 % — дворян. С точки зрения конфессиональной принадлежности большая часть учащихся были лютеранами (67,1 %), 11,5 % — православные, 4,9 % — староверы, 13,7 % — католики, 3,9 % — иудеи. В отличие от Беларуси, Украины и Литвы удельный вес численно доминирующей этнической группы — латышей среди учащихся (74,9 %) был выше, чем в структуре населения на 1897 г. (68,3 %), русских (8,8 % против 8,0 %) и поляков (3,2 % против 3,1 %) практически совпал, а белорусов (1,4 % против 4,1 %), немцев (5,7 % против 7,4 %) и евреев (3,3 % против 6,0 %) был значительно ниже. Еще более контрастными были показатели в городах, где латыши составляли почти половину (49,9 % при 38,3 % населения по переписи **1897** г.) учащихся, а немцы (15,4 % при 20,3 %), евреи (8,5 % при 14,8 %) и русские (13,5 % при 15,9 %) были представлены значительно слабее.

Эстония и эстонцы

Аналогичные процессы были характерны и для эстонцев. В Эстонии в ходе однодневной переписи **1911** г. было опрошено 60,6 тыс. учащихся. Их сословная принадлежность в целом совпадала со структурой населения: 94,4 % были детьми крестьян, 4,7 % — мещан, 0,21 % — дворян, 0,05 % — духовенства, ОД % — купцов. Это же касается и конфессиональной принадлежности:

83.5 % были лютеранами, 15,5 % — православными. В Эстонии, так же как и в Латвии, удельный вес доминирующей этнической группы — эстонцев среди учащихся (93,4 %) был выше, чем в структуре населения на 1897 г. (90,5 %), русских — примерно соот ветствовал (3,3 % по сравнению с 3,9 %), а немцев (2,2 % по срав нению с 3,4 %) — ниже. Так же как и в Латвии, в Эстонии особый интерес представляет ситуация в городах, где эстонцы составляли 80.5 % учащихся (по сравнению с 67,4 % населения городов в 1897 г.), а русские (5,5 % против 10,8 %) и немцы (11,6 % против 16.2 %) уступали свои позиции. Трудно сказать, означают ли эти данные об изменении этнических ориентации ранее германизиро ванных и прорусски ориентированных эстонцев. Однако с полным основанием можно утверждать, что эстонцы (также как и латыши) не только успешно противостояли ассимиляции, но и в значитель ной степени укрепили свои позиции, особенно среди городского на селения. По сведениям Т. Рауна эти процессы находили вполне ре альное материальное воплощение: за период с 1871 по 1912 г. доля собственности, принадлежащей эстонцам в Таллине, возросла с 18.2 % до 68,8 % [380, с. 291].

Словакия и словаки

Для этнической истории Словакии начала XX в. были характерны противоречивые тенденции. С одной стороны, явно возрастало давление мадьяризации: с 1900 по 1910 г. удельный вес словаков снизился с 60,8 % до 57,6 %, а к 1918 г. — до 50,0 %, в то же время доля венгров возросла с 27,2 % до 30,6 %, а к 1918 г. — до 36,0 % всего населения. В Братиславе доля словаков сократилась с 16,2 % в 1900 г. до 14,9 % в 1910 г., а венгров, наоборот, возросла с 30,5 % до 40,5 % [361, с. 23, 24]. Численность словацких школ с 1900 г. по 1913 г. сократилась почти в два раза: с 528 до 260 [401, с. 78].

С другой стороны, активизировалась словацкая политическая и культурная активность. В политической жизни все чаще участвовали католики, хотя протестанты по-прежнему составляли большинство. Так в 1913 г. из 200 лютеранских священников-словаков 95 были членами Словацкой национальной партии (47,5 %), а из 675 католических священников — только 26 (3,8 %) [361, с. 27]. Среди словацких писателей большинство (112 из 175) составляли священники, в том числе 2/3 были протестантами, 1/3 — католиками [361, с. 42]. В начале XX в. активизировалась и национально-направленная экономическая деятельность. В 1912 г. существовало уже 42 словацких банка, обладавших 10,0 % всех банковских депозитов Словакии. Заметно вырос объем публикаций на словацком языке, всего с **1901** по **1918** г. в свет вышло 2785 изданий. **В 1918** г. выходило 10 словацких газет и журналов [361, с. 30, 41]. Вместе с тем усилия национальных активистов не находили значительного отклика среди большей части словацкого общества. По словам этнографа А. Юровски словацкие крестьяне относились к национальному движению с безразличием [361, с. 42]. На последних перед Первой мировой войной парламентских выборах только в 2 из 57 избирательных округов, в которых словаки составляли большинство населения, победили представители национального движения [401, с. 81].

* * *

Таким образом, в начале XX в. исторические пути народов Центрально-Восточной Европы в еще большей степени разошлись. Латыши и эстонцы уже представляли собой консолидированные нации, способные противостоять ассимиляции и готовые к решению кардинальных проблем своего существования. Относительно меньший уровень консолидированности и ассимиляционной устойчивости литовцев был компенсирован феноменальной активностью национальной интеллигенции. В то же время украинцы, словаки и белорусы оставались, исходя из терминологии К. Дойча, все еще на стадии «национальности», а потому в меньшей степени защищены от воздействия ассимиляции. Точнее будет сказать, что национальные движения этих народов вообще лишь в малой степени были способны предотвратить их втягивание в реализацию иноэтничных национальных проектов. В большей степени от тотальной ассимиляции их предохраняла цивилизационная отсталость — отсутствие у политически и культурно доминирующих этнических групп эффективных средств довести до конца эту ассимиляцию.

Нахождение на стадии «национальности» украинцев, словаков и белорусов не означает идентичности уровня их национального развития. Если украинцы и, в меньшей степени, словаки достигли второго уровня фазы «Б» (по М. Гроху), то белорусы — только первого. Другими словами, если социальный резонанс украинского (в меньшей степени словацкого) движения и его массовая поддержка возрастали, то белорусское движение находилось только в начале пути к ним.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Девятнадцатый век стал веком пробуждения народов. Это проявилось в появлении интереса к языку, фольклору и историческому прошлому, формулировании идеи национальной общности, пропаганде ее при помощи периодической печати и, наконец, создании национальных политических организаций, ставящих своей задачей достижение определенной формы автономии, вплоть до создания собственного государства. Вместе с тем это была лишь «надводная часть айсберга». Формирование национальной общности включает в себя (и вызвано) масштабные глубинные изменения социальной структуры, экономической жизни, социализации и образования, политической активности, форм потребления культуры и в конечном итоге форм социального самосознания, включая этническое.

Белорусы стали одним из последних народов в Европе, вставшим на путь национальной консолидации, что, впрочем, характерно для всей восточной части Центрально-Восточной Европы. Причины такого отставания чрезвычайно многообразны. Перед тем, как обозначить его общий характер, остановимся на конкретных, если так можно выразиться, двусторонних случаях.

Так, отставание по сравнению с эстонцами обусловлено следующими факторами. Во-первых, значительно более высоким уровнем модернизации в Эстонии. Едва ли не самое большое значение имел чрезвычайно высокий уровень грамотности, почти поголовной среди взрослого населения. Не меньшую роль сыграло развитие вертикальной и горизонтальной социальной мобильности. Эстонцам, как никакому другому народу региона, удалось создать устойчивые многопоколенные городские сообщества, численно доминировавшие среди городского населения. Подчеркнем, что при этом уровень урбанизации Эстонии был сравнительно низок, крупных городов, а тем более индустриальных центров здесь не было. Развитие социальной мобильности привело к созданию не только интеллигенции массовых профессий, но высококвалифицированных интеллектуалов, способных выработать национальную идеологию. Следует подчеркнуть, что их круг был относительно немногочисленным. Отсюда следует вывод, что «критическая масса» интеллигенции для того, чтобы она стала национальной, может быть относительно небольшой. Во-вторых, быстрому

развитию эстонского движения способствовала, редкая для этого региона, простота этносоциальной структуры. Очевидность противоречий между абсолютным большинством, которое составляли эстонцы, и немецким меньшинством позволила с легкостью выразить социальный конфликт в этнических понятиях. В-третьих, свою роль сыграла принадлежность большей части эстонцев к протестантизму, который в наибольшей степени из всех христианских конфессий был способен органично соединиться с национальной идеологией. В-четвертых, большое значение имел вдохновляющий пример национального развития этнически родственных финнов, в том числе и на самых ранних ступенях консолидации эстонцев. И, наконец, в-пятых, безусловно, сыграло свою роль этнолингвистическое своеобразие эстонцев, в определенной степени предохранявшее их от германизации и русификации.

Все это позволило эстонцам достаточно успешно преодолеть воздействие тех факторов, которые, на первый взгляд, ставили вообще под вопрос возможность их консолидации в национальную общность. В их числе — практически полная «неисторичность», отсутствие в принципе каких-либо фактов, которые можно было бы трактовать как наличие этнической государственности в прошлом. Не меньшее значение имело не только отсутствие общего этнического самосознания, но и этнонима. Негативное значение имело и разделение эстонцев по конфессиональному признаку. Однако этническая история эстонцев красноречиво свидетельствует, что все эти «недостатки» достаточно легко преодолимы.

Ситуация с латышами во многом схожа: здесь свою роль сыграли и те же высокий уровень образования, социальная мобильность, конфессиональная принадлежность и этнолингвистическая самобытность. Однако по ряду параметров положение латышей было более сложным, чем у эстонцев. У них не только история, но и фольклор не давали достаточно материала для конструирования «героического прошлого». Едва ли не наибольшее негативное воздействие оказывала сложность этнической структуры — существенные региональные культурные и лингвистические различия, зафиксированные и в формах самосознания. К этому необходимо добавить и большие, чем у белорусов, внутренние конфессиональные различия, которые в сочетании с региональным фактором, как в случае с Латгалией, значительно осложняли формирование общего этнического самосознания. К числу тормозящих факторов необходимо отнести и сложность, по сравнению с Эстонией, этносоциальной структуры населения. Однако

все эти негативные для национальной консолидации факторы были преодолены за счет следующего. Во-первых, наивысшего в регионе уровня экономического развития, который более чем в два раза превышал аналогичные показатели в Эстонии и почти в восемь раз — в Беларуси. Во-вторых, это достаточно высокий уровень урбанизации, как средний, так и выразившийся в наличии такого крупного города, мегаполиса по тем временам, которым была Рига.

Сравнение с украинцами требует более подробного рассмотрения. Здесь, помимо модернизационных отличий сыграли свою роль факторы «исторической памяти» и то, что можно условно называть «фактором Пьемонта». Наличие Восточной Галиции действительно существенно повлияло на развитие украинского национального движения. Однако не следует преувеличивать ее значение. Необходимо подчеркнуть, что национальное движение тут было вынуждено конкурировать, причем не всегда успешно, с москвофильством. Кроме этого, украинцы Галиччины подвергались ассимиляции, что отражено статистическими источниками. На наш взгляд, украинское движение в надднепровской Украине имело все шансы на успешное развитие, даже если бы Восточной Галиции вообще не существовало. Об этом свидетельствует и опыт эстонцев, латышей, а также финнов, которым не понадобились какие-нибудь «Пьемонты».

Не следует также преувеличивать и значение униатства для украинского движения. Оно, конечно, создавало уникальную возможность социальной мобильности для крестьянского по социальному составу украинского населения Галиччины. Однако дело здесь не в униатстве как таковом, а в том месте, которое оно занимало в системе социальных и политических отношений в этом регионе и в монархии Габсбургов в целом. Особую роль здесь сыграла политика Марии-Терезии, уравнявшая униатов в правах с католиками и обеспечившая им создание системы церковного образования. Именно благодаря этому на протяжении первой трети XIX в. в Галиччине в среде униатских священников произошла достаточно четкая артикуляция этнической принадлежности, в отличие от Волыни, Подолья и Беларуси.

Что же касается роли «исторической памяти», то она опять-таки должна рассматриваться не как таковая, а в контексте конкретных социальных отношений и интересов. Так, артикуляция памяти о Гетманщине находила отклик среди тех социальных групп, которые реально пострадали от ее ликвидации. В

том числе: часть дворянства, из которого рекрутировались сторонники «автономизма» в конце XVIII в., формально свободное многочисленное (до полумиллиона) «малороссийское казачество», утратившее свой статус и социальное имя, и, наконец, многомиллионное крестьянство, утратившее свою личную независимость. Существенным отличием Украины от Беларуси в первой половине XIX в. стала разнонаправленность векторов социального развития, когда в Украине происходило снижение доли крепостного населения, а в Беларуси — наоборот.

Ускоренному, по сравнению с Беларусью, развитию украинского движения способствовал значительно больший (более чем в два раза) удельный вес украинцев среди городского населения. Кроме этого, особо необходимо отметить феномен Полтавы, в которой украинцы составляли 57 % населения (ничего подобного и близко не наблюдалось в городах Беларуси). Хотя и украинцев и белорусов можно считать крестьянскими нациями, доля украинцев-горожан вдвое превышала горожан-белорусов.

Белорусы значительно уступали украинцам и по степени развития политически активных идеягенерирующих социальных групп. Доля украинцев среди юристов вдвое превышала аналогичный показатель среди белорусов. Отсутствие университетских центров в Беларуси не только не позволило сформироваться национально-ориентированной профессуре, но значительно ограничило возможность социальной мобильности для коренного населения: численность крестьян с университетским образованием в Украине была в 20 раз больше, чем в Беларуси.

Помимо наличия значительно больших социальных ресурсов, относительно успешному развитию процессов консолидации украинской нации содействовали более чем в два раза превосходивший белорусский уровень рыночной активности, а также наличие такого фактора, как раннее появление земств, способствовавших созданию локальной инфраструктуры национального движения.

Среди факторов, тормозивших развитие украинского национального движения, следует в первую очередь отметить низкий уровень грамотности, уступавший даже белорусскому. Именно это обстоятельство значительно сузило потенциальную аудиторию национального движения. Низкий уровень грамотности во многом был обусловлен конфессионально-цивилизационным фактором — принадлежность большей части украинцев (значительно большей, чем у белорусов) к православию, с его специфическим

отношением к женскому образованию. Определенное значение имела и значительно большая, по сравнению с Беларусью, миграция этнического русского населения в города, индустриально развитые районы и, чего практически не было в Беларуси, сельскую местность.

Значение фактора этнического контраста достаточно хорошо видно при сравнении белорусского случая и словацкого. Отметим, что в плане уровня модернизации словаки явно опережали белорусов. Достаточно вспомнить национально артикулированные формы экономической активности, высокий удельный вес городского словацкого населения и словацкого рабочего класса. Запаздывание словацкого национального движения, по общему мнению, было следствием чрезвычайно энергично проводимой в 1880—1900-х гг. мадьяризации. При этом, особенно на уровне интеллигенции, она имела значительный успех, несмотря на то, что этнолингвистические различия были не меньшими, чем, скажем, между литовцами и русскими. Ее результаты, судя по всему, были более значимы, чем русификация белорусов. Более высокий уровень модернизации, включая систему образования, делал ассимиляционную политику соответственно более эффективной. Меньшее значение в торможении словацкого движения сыграла конфессиональная разобщенность этноса, а также сложное воздействие чешского фактора, сдерживающего артикуляцию собственно словацкой национальной идентичности.

Наиболее интересным, на наш взгляд, представляется сопоставление белорусского варианта с литовским. Оба региона относились к числу экономически наиболее отсталых в европейской части Российской империи. Так же как и белорусы, литовцы были крестьянским народом, доля литовцев-горожан была даже меньшей, чем белорусов. Оба народа не имели на своей территории университетских центров. Удельный вес литовцев с «образованием выше начального» был еще ниже, чем у белорусов. Вместе с тем, несмотря на запаздывающий характер, литовское движение отличалось завидным динамизмом. Характерно, что после польского оно первым предъявило претензии на создание национального государства. Причины, обусловившие ускоренное развитие литовского движения, многообразны. Во-первых, при общей экономической отсталости Литва все-таки достигла минимально необходимого уровня рыночной активности, который отсутствовал на большей части территории Беларуси. Во-вторых, сыграли свою роль особенности социальной истории Литвы, в том числе относительно ранняя отмена крепостного права в Сувалкской Литве; утрата формально свободного статуса многочисленной группой вольных людей на протяжении первой половины XIX в.; сокращение численности крепостных крестьян за тот же период. Все это способствовало формированию довольно значительного слоя крестьян-середняков, составивших социальную основу массового национального движения. В-третьих, существенным отличием, обеспечившим многочисленную аудиторию национальному движению, стал более высокий средний уровень грамотности. Он, в свою очередь, был следствием воздействия цивилизационно-конфессионального фактора. Грамотность среди женщин-литовок была даже выше, чем среди мужчин, что обусловлено особенностями католического отношения к женскому образованию. В-четвертых, определенную роль сыграла и Восточная Пруссия, где существовали более свободные условия для развития литовского книгопечатания и периодики. Но как и в случае с Восточной Галицией необходимо иметь в виду, что литовцы там подвергались чрезвычайно сильной германизации, при этом куда более значительной, чем украинцы. В-пятых, едва ли не большую роль сыграла чрезвычайно активная в национально-культурном отношении литовская эмиграция, в том числе и в США.

Все это, однако, не объясняет главного феномена литовского национального движения — активности немногочисленной, лишенной естественных центров консолидации, но чрезвычайно энергичной интеллигенции. Ее поведение, на наш взгляд, определялось следующими факторами. Во-первых, вдохновляющей ролью исторической памяти. Литовцы — единственный народ из рассматриваемых нами, чья «историчность» не подлежала никакому сомнению. Более того, активистам литовского движения не нужно было прилагать значительных усилий для артикуляции исторического мифа, так как это практически было сделано до них поколением польскоязычных романтиков-«краёвцев». Во-вторых, вне всякого сомнения, большое значение имело влияние латышского движения как примера (и объекта рессентимен-та). И, в-третьих, возможно, важнейшую роль сыграл тот фактор, который вспоминается едва ли не каждому, кто попытался сравнивать белорусское и литовское национальное возрождение. Это фактор этнической ментальности, который современная этнопсихология, увы, несмотря на все совершенство своего, мало понятного неспециалистам, научного аппарата, не способна ни измерить, ни объяснить. При этом значение его в данном случае пред-

ставляется априорно понятным. Именно это объясняет во многом не только феноменальность национальной консолидации литовцев, сотворенной в тех условиях, когда она теоретически была невозможной, но и события более отдаленные, а именно оказание отпора (в отличие от латышей) немецкой экспансии и создание мощного государства — Великого княжества Литовского в XIII в. Сравнительный анализ формирования национальных общностей в Центрально-Восточной Европе позволяет по-новому отнестись и к базовым постулатам современного теоретического дискурса относительно причинной обусловленности национализма. Если бы не литовский случай, то все конкретные различия достаточно легко вписались бы в контекст модернизационных концепций нации. Вместе с тем очевидно, что перенниалистские подходы к этим феноменам едва ли срабатывают. На наш взгляд, факторы, обусловившие развитие того или иного движения, должны рассматриваться в комплексе и взаимосвязи. При этом в каждом конкретном случае решающую роль сыграл отдельный определенный фактор, такой как высокий уровень модернизации у латышей, простота и очевидная конфликтогенность этносоциальной ситуации в Эстонии, «историчность» литовцев и социальная значимость «исторической памяти» у украинцев. Формирование белорусской национальной общности протекало в едва ли не наименее подходящих для этого условиях. Практически все значимые для успешного развития национального движения факторы либо были слабо выражены (рыночная активность, урбанизация, социальная мобильность, грамотность, этнолингвистическое и конфессиональное своеобразие), либо вообще отсутствовали (университетские центры, «историчность», «Пьемонт»). Поэтому очевидное запаздывание национальной консолидации белорусов в XIX — начале XX в. носило объективно обусловленный характер.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Александровіч С.Х. Гісторыя і сучаснасць. Мн., 1968.
2. Александровіч С.Х. Пуцявіны роднага слова: Праблемы развіцця беларускай літаратуры і друку другой паловы. XIX – пачатку XX ст. Мн., 1971.
3. Александрович С.Х., Александровіч В. С. Беларуская літаратура XIX - пачатку XX ст. Хрэстаматыя. Мн., 1978.
4. Антон Луцкевіч пра беларускае адраджэнне пачатку XX ст. // Пет.альманах. 1998. Т. 1.
5. Арутюнов С. А. Этнические процессы и язык // Расы и народы. М., 1985.
6. Арутюнов С. А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. М., 1989.
7. Арутюнов С. А., Чебоксаров Н. Н. Передача информации как механизм существования этносоциальных и биологических групп человечества // Расы и народы. М., 1972.
8. Арутюнян Ю. В., Дробижева Л. М., Кондратьев В. С, Сусоколов А. А. Этносоциология. М., 1984.
9. Архив русского географического общества в г. Санкт-Петербург (далее АРГО). Фонд 11, опись 1, дело 12.
10. АРГО. Ф. 20, оп. 1, д. 4.
11. АРГО. Ф. 22, оп. 1, д. 6.
12. АРГО. Ф. 108, оп. 1, д. 22.
13. АРГО. Ф. 108, оп. 1, д. 52.
14. Атлас народонаселения Западно-Русского края по исповеданиям. С предисловием П. Батюшкова. Спб., 1864.
15. Бандарчык В. К. Е. Р. Раманаў. Мн., 1961.
16. Барабаш Ю. Сиамские близнецы. Западноруссизм и малороссийство в национальном самосознании белоруса и украинца // Русь -Литва - Беларусь. Проблемы национального самосознания в историографии и культурологии. М., 1997.
17. Біч М. Беларускае адраджэнне у XIX - пачатку XX ст. Мн., 1993.
18. Бобровский П. О. Гродненская губерния. Материалы по географии и статистике России, собранные офицерами Генерального штаба. Спб., 1863. Т. 1-2.
19. Бобровский П. О. Михаил Кириллович Бобровский (1785-1839). Ученый славист-ориенталист: Ист.-биогр. очерк. Спб., 1889.

20. Бобровский П. О. Русская греко-униатская церковь в царствование императора Александра I. Спб., 1890.
21. Болбас М. Ф. Развитие промышленности в Белоруссии (1861 - 1900 гг.). Мн., 1966.
22. Брук С. И., Кабузан В. М. Динамика и этнический состав населения России в эпоху империализма // История СССР. 1980. № 3.
23. Брук С. И,, Кабузан В. М. Этнический состав населения России (1719-1917 гг.) // Советская этнография. 1980. № 6.
24. Вараб'ёу А. Выбары ва Устаноўчы сход у Магілёўскай губерні // Магілёўская даўніна. Магілёў, 1994-1996.
25. Верещагин Д. Д. Крестьянские переселения из Белоруссии (вторая половина XIX в.). Мн., 1978.
26. Вестник Западной России. Вильна, 1870. Т. 3. Кн. 6.
27. Вестник Юго-Западной и Западной России. Вильна, 1863. Т.1.
28. Виленский вестник. 1906. 1 июля.
29. Витте Е. Белорусы и литовцы. Почаев, 1910.
30. Вольтер Е. И. Новые сведения о численности и местах обитания литовского племени // Журнал Министерства внутренних дел. 1851. № 4.
31. «Всеподданейший отчет...» Виленского, Гродненского и Ковенского генерал-губернатора П. Д. Святополк-Мирского Николаю II // Бел. пет. часоп. 1997. № 2.
32. Гарэцкі Г. Межы Заходняй Беларусі і Польшчы // Матэрыялы дагеаграфіі і статыстыкі Беларусі. Мн., 1928.
33. Горизонтов Л. Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польше. М., 1999.
34. Города России в 1904 году. Спб., 1906.
35. Города России в 1910 году. Спб., 1914.
36. Городская перепись 1917 г. Могилевская губерния. Могилев, 1918.
37. Григорьева В. Из истории располячения костела в белорусских губ. (Взгляд на проблему через деятельность каноника Ф. Сенчиковского) // Наш радавод. Кн. 4. Ч. 3. Гродна, 1992.
38. Грицак Я. Нарис історіі Укрaни. Формування модерноі украшськоі наци XIX-XX стол. Кішв, 2000.
39. Гродненские губернские ведомости. 1863. № 41.
40. ГрыцкевЬч В. Псторыя и м1фы. Мн., 2000.
41. Грыцкевіч В. П., Мальдзіс А.І. Шляхі вялі праз Беларусь: Нарыс. Мн., 1980.

42. Довнар-Запольский М. В. СССР по районам. Белорусская СССР и Западная область РСФСР. М.; Л., 1928.
43. Довнар-Запольский М. В. Народное хозяйство Белоруссии. 1861 - 1914. Мн., 1926.
44. Довнар-Запольский М. Исследования и статьи. Киев, 1909. Т. 1.
45. Довнар-Запольский М. В. Песни пинчуков. Киев, 1895.
46. Доунар-ЗапольскЬ М. Псторыя Беларусь Мн., 1994.
47. Дьякин В. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (начало XX в.) // Вопр. истории. 1996. №11 - 12.
48. Емельянчык С. Нацыяналізм укранцаў, беларусаў і славакаў // Arche. 2001. № 2.
49. Ерашэвіч А. Палітычныя праекты адраджэння Рэчы Паспалітай і Вялікага княства Літоўскага ў палітыцы расейскага царызму напярэдадні вайны 1812 г. // Пет. альманах. 2002. Т. 6.
50. Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении // Под ред.П. П. Семенова. Спб., 1882. Т. 3.
51. Жытко А. Веравызнальны склад дваранства Беларусь 1861-1914 гг. // Бел. пет. часоп. 1999. № 3.
52. Завальнюк У. Каталщкі касцёл на Беларуй у XX ст. // Бел. гіст. часоп. 2000. № 4.
53. Зам А. Беларусю нацыяналізм ці нацыяналізм Беларусі? // Бел.пет. агляд. 2000. Т. 7. Сш. 1(12).
54. Заринов И. Ю. Время искать общий язык (проблема интеграции различных этнических теорий и концепций) // Этногр. обозрение. 2000. № 2.
55. Зеленский И. Минская губерния. Материалы по географии и статистике России, собранные офицерами Генерального штаба. Спб., 1864. Т. 1-2. 56. Зябловский Е. Землеописание Российской империи для всех состояний. Спб., 1810.
57. Историко-статистическое описание девяти уездов Минской губернии. Мн., 1870.
58. Кабузан В. М. Народы России в первой половине XIX в. Численность и этнический состав. М., 1992.
59. Кабузан В. М., Махнова Г. П. Численность и удельный вес украинского населения на территории СССР 1795-1959 гг. // История СССР. 1965. № 1.
60. Канфесіі на Беларусі (канец XVIII - XX ст.) / Пад рэд. У. Навіцкага. Мн., 1999.

61. Канчер Е. С. Белорусский вопрос. Пг., 1919.
62. Карев Д. В. Белорусская историография конца XVIII-начала XX в.(Политика царизма и формирование исторической мысли Белоруссии) // Наш радавод. Кн. 5. Ч. 2. Гродна, 1993.
63. Карева А. Виленская губерния. Материалы по географии и статистике России, собранные офицерами Генерального штаба. Спб., 1861.
64. Карнейчык Я.І. Беларуская нацыя. Мн., 1969.
65. Карский Е. Ф. Белорусы. Т. 1. Введение в изучение языка и народной словесности. Варшава, 1903.
66. Карский Е. Ф. Этнографическая карта белорусского племени. Пг., 1917.
67. Кастусь Каліноўскі. 3 нашую вольнасць! Творы, дакументы // Уклад Г. Кісялёу. Мн., 1999.
68. Каўка А. Жывем! Старонкамі беларускага самапазнання. Мн.,1997.
69. Кеппен П. И. Девятая ревизия. Исследование о числе жителей в России. Спб., 1857.
70. Кіштымаў А. Эканамічная эвалюцыя Беларусі ў складзе Расійскай Імперыі: характарыстыка, тэндэнцыі, вывады // Наш Радавод. Кн.8. Беларусы і палякі дыялог народаў і культур. X-XX ст. Гродна-Беласток, 2000.
71. Кіштымаў А. Эканамічныя асновы беларускай дзяржаўнасці на пачатку XX ст. // Ист. альманах. 2000. Т. 3.
72. Киштымов А. Проблемы истории экономики Беларуси 19-начала 20 вв. в белорусской историографии // Пет. альманах. 2001. Т. 4.
73. Клинге М. Очерк истории Финляндии. Хельсинки, 1990.
74. Кніга Беларусі 1517-1917. Зводны каталог. Мн., 1986.
75. Книга для чтения в народных училищах Виленского учебного округа. Вильна, 1863.
76. Колас Я. 36. тв.: У 14 т. / Пад рэд. В. В. Барысевіч і інш. Т. 13.1908-1949. Мн., 1977.
77. Корнилов И. П. Русское дело в Северо-Западном крае. Материалы для истории Виленского учебного округа, преимущественно в Муравьевскую эпоху. Спб., 1901.
78. Коронкевич П. В. Белорусы. Исторический очерк с обзором деятельности «Союза Белорусской Демократии», этнографической картой и отзывом Е. Ф. Карского о программе союза. Гомель, 1917.
79. Коялович М. О. Чтения по истории Западной России. Спб., 1884.

80. Коялович М. О. О расселении племен Западного края России. Спб., 1863.
81. Коялович М. О. Народное движение в Западной России // Сб. статей, разъясняющих польское дело по отношению к Западной России. Вильна, 1887.
82. Краткое извлечение из доклада, прочитанного П. П. Чубинским // Геогр. известия. 1872. № 1.
83. Крепостное население в России по 10-й народной переписи: Стат. исследование А. Тройницкого. Спб., 1861.
84. Кудрявцев И. Е. «Национальное Я» и политический национализм // Полит, исследования. 1997. № 2.
85. Кузняева С. Нацыянальнае адраджэнне і нацыянальная свядомасць беларусау у першай палове XIX ст. // Бел. пет. агляд. 1994. Т. 1. Сш. 1.
86. Культурна-нацыянальныя працэсы на Беларум у другой палове XIX - пача.тку XX ст. Мн., 1988.
87. Латышонак А. Народзіны беларускай нацыянальнай ідэі // Спадчына. 1992. № 1.
88. Лебедкин М. О. О племенном составе народонаселения Западного края Российской империи. Спб., 1861.
89. Липинский Л. П. Развитие капитализма в сельском хозяйстве Белоруссии (вторая половина XIX в.). Мн., 1971.
90. Лобач У. А. Уяўленеі аб прасторы і часе ў традыцыйным светапоглядзе беларусаў (па этнаграфічных і фальклорных матэрыялах XIX - пачатку XX ст.): Рукапіс дыесертацыі на атрыманне ступееі канд. гіст. навук. Мн., 2003.
91. Луцкеввч А. Эканамічная эвалюцыя і беларускі рух // Пет. альманах. 2000. Т. 3.
92. Лыч Л. Вытокі беларускай нацыянальнай ідэі // Бел. гіст. часоп.1998. № 3.
93. Мальдис А. И. Становление новой белорусской литературы // История белорусской дооктябрьской литературы. Мн., 1977.
94. Марзалюк, І.А. Еўдакім Раманавіч Раманаў - археограф і археолаг Магілёўшчыны / Марзалюк Ігар Аляксандравіч // Магілёўская даўніна. Магілёў, 1993. С. 37-45.
95. Материалы для истории славянской филологии. Письма к Вячеславу Ганке из славянских земель. Варшава, 1905.
96. Материалы переписи 1909 г. по 9 западным губ. [Б. м., б. г.].
97. Маяк. 1844. № 14.

98. Мелешко Е. И. П. О. Бобровский об этносоциальном составе белорусских земель // Заходняя Беларусь: пстория і сучаснасць. Матэрыялы рэсп. навук. канф. (5-6 снежня 1997 г.). Гродна, 1998.
99. Миллер А. И. Национализм как теоретическая проблема (ориентация в новой исследовательской парадигме) // Полит, исследования. 1995. № 6.
100. Миловидов А. Западно-русские братства и их современное состояние и задачи. Вильна, 1913.
101. Минские губернские ведомости. 1861. № 28.
102. Мірановіч Я. Навейшая гісторыя Беларуси, Беласток, 1999.
103. Миронов Б. М. Социальная история России периода империи (XVIII - начало XX вв.). Спб., 1999. Т. 1-2.
104. Молва. 1838. № 21.
105. Наулко В. И. Развитие межэтнических связей на Украине. Киев, 1975.
106. Националізм. Анталогія / Упорядники О. Проценъ, В. Лісовий. Київ, 2000.
107. Национализм и формирование наций. Теории - модели - понятия. М., 1994.
108. Национальная политика России: история и современность. М.,1997.
109. Национальные движения в Центральной Европе. Сотрудничество и контакты (30-70-е гг. XIX в.). М., 1996.
110. Национальный вопрос в Восточной Европе. Прошлое и настоящее. М., 1995.
111. Национальный исторический архив Республики Беларусь в г. Минске (далее НИА РБ в г. Минске). Фонд 295, опись 1, дело 2.
112. НИА РБ в г. Минске. Ф. 295, оп. 1, д. 512.
113. НИА РБ в г. Минске. Ф. 295, оп. 1, д. 1968.
114. НИА РБ в г. Минске. Ф. 295, оп. 1, д. 3095.
115. НИА РБ в г. Минске. Ф. 295, оп. 1, д. 3708.
116. НИА РБ в г. Минске. Ф. 295, оп. 1, д. 7292.
117. НИА РБ в г. Минске. Ф. 458, оп. 1, д. 303.
118. НИА РБ в г. Минске. Ф. 458, оп. 1, д. 305.
119. НИА РБ в г. Минске. Ф. 1430, оп. 1, д. 1886.
120. НИА РБ в г. Минске. Ф. 1430, оп. 1, д. 32437.
121. НИА РБ в г. Минске. Ф. 1430, оп. 1, д. 33606.
122. НИА РБ в г. Минске. Ф. 1430, оп. 1, д. 33680.
123. НИА РБ в г. Минске. Ф. 1430, оп. 1, д. 33861.
124. НИА РБ в г. Минске. Ф. 1430, оп. 1, д. 43607..

125. НИА РБ в г. Минске. Ф. 1430, оп. 1, д. 43772.
126. НИА РБ в г. Минске. Ф. 1430, оп. 1, д. 47388.
127. НИА РБ в г. Минске. Ф. 1430, оп. 1, д. 48268.
128. НИА РБ в г. Минске. Ф. 1430, оп. 1, д. 48268.
129. НИА РБ в г. Минске. Ф. 1430, оп. 1, д. 54117.
130. НИА РБ в г. Минске. Ф. 1430, оп. 1, д. 54200.
131. НИА РБ в г. Минске. Ф. 1779, оп. 1, д. 6.
132. НИА РБ в г. Минске. Ф. 2507, оп. 1, д. 3168.
133. Национальный исторический архив Республики Беларусь в г. Гродно (далее НИА РБ в г. Гродно). Фонд 14, опись 1, дело 601.
134. НИА РБ в г. Гродно. Ф. 14, оп. 1, д. 607.
135. Нацыянальная палітыка Расійскага самадзяржаўя на Беларусі канца XVIII - пачатку XX ст. Мн., 1995.
136. Наша ніва. 1908. № 2.
137. Наша ніва. 1908. № 7.
138. Наша ніва. 1910. № 8.
139. Нордберг М., Кузио Т. Построение наций и государств. Историческое наследие и национальное самосознание в Белоруссии и Украине (сравнительный анализ) // Белоруссия и Россия: общества и государства. М., 1998.
140. О положении поляков в Западном крае. Записка членов государственного совета Мейштовича, Скирмунта, Лопацинского. [Б.м.],1915.
141. Обзор Виленской губернии за 1907 г. Вильна, 1908.
142. Обзор Виленской губернии за 1912 г. Вильна, 1913.
143. Обзор Витебской губернии за 1907 г. Витебск, 1908.
144. Обзор Витебской губернии за 1914 г. Витебск, 1916.
145. Обзор Гродненской губернии за 1903 г. Гродно, 1904.
146. Обзор Гродненской губернии за 1907 г. Гродно, 1908.
147. Обзор Гродненской губернии за 1913 г. Гродно, 1914.
148. Обзор Минской губернии за 1907 г. Мн., 1908.
149. Обзор Минской губернии за 1913 г. Мн., 1914.
150. Обзор Могилевской губернии за 1907 г. Могилев, 1908.
151. Обзор Могилевской губернии за 1913 г. Могилев, 1915.
152. Однодневная перепись начальных школ в империи, произведенная 18 января 1911 года.
Вып. 3. Харьковский учебный округ. Спб., 1914. Вып. 4. Одесский учебный округ. Спб., 1914. Вып. 5. Киевский учебный округ. Спб., 1914. Вып. 8. Виленский учебный округ. Спб., 1914. Вып. 9. Рижский учебный округ. Спб., 1914.

153. Опыт описания Могилевской губернии в историческом, физико-географическом, этнографическом, промышленном, сельскохозяйственном, лесном, учебном, медицинском и статистическом отношениях. Кн. 1-3 / Сост. по программе и под ред. А. С. Дембовецкого. Могилев, 1882-1884.
154. Опыты в русской словесности воспитанников гимназий Белорусского учебного округа. Вильна, 1839.
155. Павлищев М. И. Польская история в виде учебника. Варшава, 1843.
156. Пастухова З. А. Среднее образование в дореволюционной Белоруссии. Мн., 1963.
157. Пачынальнік. Гісторыка-літаратурныя матэрыялы XIX ст. / Уклад. Г. В. Кісялёў. Мн., 1977.
158. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г.: Т. 1-86 / Под ред. Н. А. Тройницкого.
Т. 4. Виленская губерния. Тетради 1-3. Спб., 1899-1904.
Т. 5. Витебская губерния. Тетради 1-3. Спб., 1899-1903.
Т. 7. Волынская губерния. Спб., 1903.
Т. 11. Гродненская губерния. Спб., 1904.
Т. 12. Екатеринославская губерния. Спб., 1904.
Т. 16. Киевская губерния. Спб., 1904.
Т. 17. Ковенская губ. Спб., 1904.
Т. 19. Курляндская губерния. Спб., 1904.
Т. 21. Лифляндская губерния. Спб., 1904.
Т. 22. Минская губерния. Спб., 1904.
Т. 23. Могилевская губерния. Спб., 1904.
Т. 32. Подольская губерния. Спб., 1905.
Т. 33. Полтавская губерния. Спб., 1905.
Т. 44. Харьковская губерния. Спб., 1905.
Т. 47. Херсонская губерния. Спб., 1905.
Т. 48. Черниговская губерния. Спб., 1905.
Т. 49. Эстляндская губерния. Спб., 1905.
159. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Вып. 7. Наличное население по уездам, с указанием преобладающих родных языков. Спб., 1905.
160. Переписи населения России. Итоговые материалы подворных переписей и ревизий России (1646-1858 гг.). Вып. 8. М., 1972.
161. Переписи населения России. Итоговые материалы подворных переписей и ревизий России (1646-1858 гг.). Вып. 9. М., 1972.

162. Перепись населения г. Минска, произведенная 27-30 сентября 1917 г. Мн., 1917.
163. Празаускас А. А. Этнонационализм, многонациональное государство и процессы глобализации // Полит, исследования. 1997. №2.
164. Публицистика белорусских народников / Сост. С. Х. Александрович, И. С. Александрович. Мн., 1983.
165. Раков А. А. Население Белорусской ССР. Мн., 1963.
166. Риттих А. Ф. Этнографическая карта Европейской России. Спб., 1863.
167. Риттих А. Ф. Материалы для этнографии России. Прибалтийский край. Спб., 1873.
168. Риттих А. Ф. Приложение к материалам для этнографии Царства Польского. Губернии Люблинская и Августовская. Спб., 1864.
169. Романов Е. Р. Белорусский сборник. Вильна, 1910. Вып. 7.
170. Романов Е. Р. Белорусский сборник. Вильна, 1912. Вып. 8.
171. Романов Е. Р. Материалы по этнографии Гродненской губернии. Вильно, 1911.
172. Романовский Н. Т. Развитие мануфактурной промышленности в Белоруссии (вторая пол. XVIII - первая пол. XIX в.). Мн., 1966.
173. Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Фонд 733, опись 20, дело 388.
174. РГИА. Ф. 775, оп. 1, д. 344.
175. РГИА. Ф. 776, оп. 22, д. 344.
176. РГИА. Ф. 776, оп. 22, д. 386.
177. РГИА. Ф. 1263, оп. 4, д. 51.
178. РГИА. Ф. 1266, оп. 1, д. 26.
179. РГИА. Ф. 1276, оп. 17, д. 82.
180. РГИА. Ф. 1276, оп. 17, д. 23.
181. Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Т. 9. Верхнее Поднепровье и Белоруссия / Под ред. В. П. Семенова; Сост. В. П. Семенов, М. В. Довнар-Запольский, Д. З. Шендрик. Спб., 1905.
182. Роўда У. Вытокі нацыяналізму // Arche. 2001. № 2.
183. Рохлин Л. Л. Местечко Краснополье Могилевской губернии. Опыт статистико-экономического описания типичного местечка черты еврейской оседлости. Спб., 1908.
184. Рудовіч С. С. Класава-палітычнае размежаванне ў беларускім нацыянальна-вызваленчым руху напярэдадні Вялікага Кастрычніка //Весці АН БССР. Сер. грамад. навук. 1985. № 5.

185. Рудовіч С. Час выбару. Праблема самавызначэння Беларусаў у 1917 г. Мн., 2001.
186. Рудовіч С. Этнапалітычная псторыя Беларуш пачатку XX ст.: праблемы даследавання // Пет. альманах. 2001. Т. 4.
187. Руткевич М. Н. Теория нации: философские вопросы // Вопр. философии. 1999. № 5.
188. Рыбаков С. Е. Национализм и нация // Этногр. обозрение. 1999. № 4.
189. Рыбаков С. Е. О методологии исследования этнических феноменов // Этногр. обозрение. 2000. № 5.
190. Савіч-Заблоцкі В. Пісьмы да М. П. Драгаманава // Беларуская літаратура XIX стагоддзя: Хрэстаматыя / Уклад. А. А. Лойка, В. П. Рагойша. Мн., 1988.
191. Самбук С. М. Революционные народники Белоруссии (70-е - начало 80-х гг. XIX в.) Мн., 1972.
192. Самбук С. М. Общественно-политическая мысль Белоруссии во второй половине XIX в. (по материалам периодической печати). Мн., 1976.
193. Самбук С. М. Политика царизма в Белоруссии во второй половине XIX в. Мн., 1980.
194. Семашкевьч Р. М. Беларуси л1таратурна-грамадсю рух у Пецярбурзе (канец XIX - пачатак XX ст.). Мн., 1971.
195. Сементовский А. Этнографический обзор Витебской губернии. Спб., 1872.
196. Семенов Ю. И. Социально-исторические организмы, этносы, нации // Этногр. обозрение. 1996. № 3.
197. Смалянчук А. Паляк1 Беларус1 і Ллтвы у рэвалюцьи 1905-1907 гг. Гародня, 2000.
198. Смалянчук А. Польсш нацыянальны рух і беларускае Адраджэнне пачатку XX ст. Гродна, 1995.
199. Смирнов А. Ф. Восстание 1863 года в Литве и Белоруссии. М., 1963.
200. Смирнов Л. Н. Отражение в литературно-языковой сфере борьбы за консолидацию словацкой нации // Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. Исторический и историко-культурный аспекты / Отв. ред. В. И. Фрейдзон. М., 1981.
201. Смяховіч М. Нацыянальная ідэя беларусаў (гістарыяграфічны аналіз праблемы) // Бел.гіст. часоп. 1998. № 3.
202. Снапкоўская С. В. Адукацыйная палітыка і школа на Беларусі ў канцы XIX - пачатку XX ст. Мн., 1998.

203. Социальная структура общества в XIX в. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы / Отв. ред. В. А. Дьяков. М., 1982.
204. Сталин И. В. Национальный вопрос и ленинизм // Соч. Т. 11. М., 1953.
205. Статистика Российской империи: Сб. сведений по России за 1884-1885 гг. Спб., 1887.
206. Статистические таблицы г. Лебедкина // Северная пчела. 1862. №2.
207. Статистические таблицы распределения славян с объяснительной запиской А. С. Будиловича. Спб., 1875.
208. Статистические таблицы Российской империи. Наличное население за 1858 г. Спб., 1863.
209. Статистический временник Российской империи. Вып. 1. Спб., 1866.
210. Статистический временник Российской империи. Сер. 2. Вып. 11. Спб., 1875.
211. Статистический ежегодник России. 1912. Год 9-й. Спб., 1913.
212. Статистический ежегодник России. 1913. Год 10-й. Спб., 1914.
213. Сташкевіч М. Прадумовы і працэс стварэння палітычных партый на Беларусі (канец XIX - пачатак XX ст.) // Бел. гіст. часоп. 1999. № 3.
214. Сташкевіч М. С. Гістарычны выбар на пачатку XX ст. // Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. Мн., 2000.
215. Сташкевич Н. С. Приговор революции: крушение антисоветского движения в Белоруссии (1917-1925). Мн., 1985.
216. Столпянский Н. П. Девять губерний Западно-Русского края в топографическом, гносеологическом, статистическом, экономическом, этнографическом и историческом отношениях. Спб., 1866.
217. Субтельний О. Украіна. Історія. Кіив, 1992.
218. Тадевосян Э. В. Этнонация: миф или реальность // Социолог, исследования. 1998. № 6.
219. Талочка У. Да справы нацыянальнасцb праф. М. Бабpoускага // Калоссе. 1935. № 4.
220. Талько-Гринцевич Ю. К антропологии народностей Литвы и Белоруссии // Тр. антропологического общества при Военно-медицинской академии. М., 1867. Т. 1. Вып. 1.
221. Тарас Шаўчэнка і беларуская літаратура. Мн., 1964.
222. Терешкович П. В., Чаквин И. В. Из истории формирования национального самосознания белорусов (XIV-начало XX в.) // Сов. этнография. 1990. № 6.

223. Тизенгаузен Н. А. Некоторые статистические данные о народонаселении Западного края России. Мн., 1910.
224. Титов В. С. Историко-этнографическое районирование материальной культуры белорусов. Мн., 1983.
225. Тишков В. А. Забыть о нации (постнационалистическое понимание национализма) // Этногр. обозрение. 1998. № 5.
226. Токцъ С. Праблемы даследавання працэсау фарміравання сучаснай беларускай нацыі // Пет. альманах. 2001. Т. 4.
227. Токць С. Беларускі нацыянальны рух XIX-пачатку XX ст. у кантэксце нацыянальных рухаў народаў Цэнтральна-Усходняй Еуропы // Нацыянальныя пытанні. Матэрыялы III Міжнароднага кангрэса беларусістаў. Мн., 2001.
228. Торговля и промышленность Европейской России по районам. Общая часть и приложения. Спб., [б. г.].
Вып. 2. Северо-Западная земледельческая полоса. Спб., [б. г.].
Вып. 7. Южная хлеботорговая полоса. Спб., [б. г.].
Вып. 8. Южная горнопромышленная полоса. Спб., [б. г.].
Вып. 9. Юго-Западная земледельческая и промышленная полоса. Спб., [б. г.].
Вып. 10. Полесская полоса. Спб., [б. г.].
Вып. 11. Привислинская полоса. Спб., [б. г.].
229. Трацяк Я. Беларускае духавенства ў першай палове XX ст. // Bialoruskie zeszyty historiczne. Bialystok, 1999. № 12.
230. Турска Г. Происхождение польскоязычных ареалов в Виленском крае. Вильнюс, 1995.
231. У истоков формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. Общественно-культурное развитие и генезис национального самосознания // Отв. ред. Л. С. Мыльников. М., 1984.
232. Улащик Н. Н. Предпосылки крестьянской реформы 1861 г. в Литве и Западной Белоруссии. М., 1965.
233. Ульянов Н. И. Происхождение украинского сепаратизма. М., 1996.
234. Філатава А. Нацыянальнае пытанне і палітыка царскага урада ў Беларусі канца XVIII - першай паловы XIX ст. // Бел. гіст. агляд. 2000. Т. VII. Сш. 1 (12).
235. Флоринский Т. Д. Славянское племя: Стат.-этногр. обзор современного славянства. Киев, 1907.
236. Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. Исторический и историко-культурный аспекты / Отв. ред. В. И. Фрейдзон. М., 1981.

237. Формирование национальных культур в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1976.
238. Формы национального движения в современных государствах / Под ред. А. И. Кастелянского. Спб., 1910.
239. Францев В. А. Польское славяноведение конца XVIII и первой четверти XIX ст. Прага Чешская, 1906.
240. Хаўстовіч М. Ігнат Даніловіч і «Катэхізіс» 1835 г. // Bialoruskie zeszyty historiczne. Bialystok, 1999. № 12.
241. Хмельницкая Л. В. Эволюция взглядов А. А. Слупского на проблему самоопределения белорусов // Русь-Литва-Беларусь. Проблемы национального самосознания в историографии и культурологии. М., 1997.
242. Хобсбаум Э. Век революции. Европа 1789-1848. Ростов, 1999.
243. Цвікевіч А. «Западно-руссизм». Нарысы з гісторыі грамадскай мысьлі на Беларусі у XIX і пачатку XX в. Мн., 1993.
244. Цвірка К. А. Слова пра Сыракомлю. Быт і культура беларусау у творчасці «Вясковага лірніка». Мн., 1975.
245. Центральный архив Российской академии наук в г. Санкт-Петербург (далее ЦА РАН). Фонд 30, опись 2, дело 6.
246. ЦА РАН. Ф. 30, оп. 2, д. 7.
247. ЦА РАН. Ф. 30, оп. 2, д. 17.
248. ЦА РАН. Ф. 30, оп. 2, д. 29.
249. ЦА РАН. Ф. 30, оп. 2, д. 30.
250. ЦА РАН. Ф. 30, оп. 2, д. 113.
251. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 1, д. 957.
252. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 6-40.
253. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 44-47.
254. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 49.
255. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 52-54.
256. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 58.
257. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 179.
258. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 183
259. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 188-189.
260. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 191.
261. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 194
262. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 196.
263. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 207-208.
264. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 210.
265. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 212-215.

266. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 218.
267. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 221.
268. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 227-228.
269. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 231-233.
270. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 235-236.
271. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 241.
272. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 243.
273. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 245.
274. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 247-249.
275. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 258.
276. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 260-262.
277. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 270.
278. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 275.
279. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 277.
280. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 282.
281. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 285.
282. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 294.
283. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 296.
284. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 300.
285. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 303.
286. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 310.
287. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 317.
288. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 319.
289. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 322-323.
290. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 330.
291. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 342.
292. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 346-348.
293. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 351.
294. ЦА РАН. Ф. 104, оп. 4, д. 358.
295. ЦА РАН. Ф. 292, оп. 2, д. 20.
296. ЦА РАН. Ф. 292, оп. 2, д. 50.
297. ЦА РАН. Ф. 292, оп. 2, д. 64.
298. Церашковіч П. У. Асноўныя тэндэнцып развщцця беларускага этнаса у эпоху капіталізма // Весці АН БССР. Сер. грамад. навук. 1986.№ 5.
299. Цуба М. Беларускі нацыянальны рух на пачатку XX ст. // Бел. пет. часоп. 1996. № 1.
300. Чаквін І. У. Гістарычная этнамяжа Палесся // Весці АН БССР. Сер. грамад. навук. 1985. № 4.

301. Чепко В. В. Сельское хозяйство Белоруссии в первой половине XIX в. Мн., 1966.
302. Чепко В. В. Города Белоруссии в первой половине XIX в. Мн., 1981.
303. Чешко С. В. Человек и этничность // Этногр. обозрение. 1994. № 6.
304. Чихачев Д. К вопросу о располячении костела в прошлом и настоящем. Спб., 1913.
305. Шаучэнка С. П. Магілёўшчына на старонках «Нашай нівы» // Магілёшская дашнша. Магілёў, 1998.
306. Швед В. В. Паміж Польшчай і Расіяй: грамадска-палиычнае жыццё на землях Беларуи (1772-1863 гг.). Гродна, 2001.
307. Шибеко З. В. Минск в конце XIX - начале XX вв. Очерк социально-экономического развития. Мн., 1985.
308. Шнирельман В. А. Национальный миф: основные характеристики (на примере этногенетических версий восточнославянских народов) // Славяноведение. 1995. № 6.
309. Шолкович С. Сборник статей, разъясняющих польское дело по отношению к Западной России. Вып. 1-2. Вильно, 1885-1887.
310. Шпилевский П. М. Путешествие по Полесью и Белорусскому краю. Спб., 1858.
311. Шчаўлінскі М. Бежанцы і беларускі нацыянальны рух у гады першай сусветнай вайны // Бел. гіст. часоп. 1999. № 3.
312. Шыбека З. Гарады Беларум (60-я гг. XIX - пачатак XX ст.). Мн., 1997.
313. Эберхардт П. XX стагоддзе: нацыянальныя змены у Цэнтральнай і Усходняй Еуропе // Край - Kraj (Polonica, Albarutenica, Lituanica). Мн., 2001.
314. Эбэрхардт П. Дэмаграфічная сітуацыя на Беларусі 1897 - 1989. Мн., 1997.
315. Экономика Белоруссии в эпоху империализма. 1900-1917 гг. / Под ред. Г. М. Ковалевского и др. Мн., 1963.
316. Эремич И. Очерки белорусского Полесья // Вестник Западной России. Вып. 8. Вильно, 1867.
317. Эркерт Р. Ф. Этнографический атлас западно-русских губерний и соседних областей. Берлин, 1863.
318. Эркерт Р. Ф. Взгляд на историю и этнографию Западных губерний России (с атласом). Спб., 1864.
319. Юхнева Н. В. Об этнических аспектах изучения населения дореволюционного Петербурга // Сов. этнография. 1980. № 4.

320. Юхнева Н. В. Этнический состав и этносоциальная структура населения Петербурга. Вторая половина XIX - начало XX в.: Стат. анализ. Л., 1984.
321. Ядвігін Ш. В. Марцінкевіч у практичным жыцці // Выбр. тв. Мн., 1976.
322. Яноўская В. В. Хрысцянская царква у Беларус1 у 1863-1914 гг.Мн., 2002.
323. Янчук Н. А. О мнимо народных белорусских песнях исторического и мифологического содержания. Харьков, 1908.
324. Янчук Н. А. По Минской губернии. Заметки поездки в 1886 г. М., 1889.
325. Allcock J. A historical sociology of the South Slav lands. London, 1999.
326. Anderson B. Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London; New York, 1991.
327. Anthias F., Yuval-Davis N. Women and the Nation-Sate // Nationalism / Ed. by J. Hutchinson and A. D. Smith. Oxford; New York, 1994.
328. Armstrong J. Ukrainian nationalism. Englewood, 1990.
329. Armstrong J. Nations before nationalism. Chapel Hill, 1992.
330. Bardach J. O dawniej i nedawniej Litwie. Poznan, 1998.
331. Bardach J. Od narodow politycznych do narodow etnicznych w Europie Srodkowo-Wschodniej // Mniejoczosci narodowe i religijne w Europie Srodkowo-Wschodniej. Cz.l. Lublin, 1993.
332. Baumgacrten R. V. The Slovaks under Hungarian rule // Reflections on Slovak history / Ed. by S. J. Kirschbaum, A. C. Roman. Toronto, 1987.
333. Bialokozowicz B. Miijdzy Wschodem a Zachodem. Z dziejow formowania si? biailoruskiej swiadomosci narodowej. Bialystok, 1998.
334. Biehnski J. Uniwersitet Wilenski (1579-1831). Krakow, 1899 - 1900. T. 1-3.
335. Bosak E. The Slovak national movement, 1848-1914 // Reflections on Slovak history / Ed. by S. J. Kirschbaum, A. C. Roman. Toronto, 1987.
336. Breuilly J. The State and Nationalism // Understanding Nationalism. Cambridge, 2001.
337. Breuilly J. Nationalism and the state. Manchester, 1993.
338. Brodowska H. Chlopi o sobie i Polsce. Rozwoj swiadomosci spoleczno-narodowej. Warszawa, 1984.
339. Brown D. Contemporary nationalism: civic, ethnocultural, and multicultural politics. London; New York, 2000.

340. Chlebowczyk J. O prawie do bytu malych i mlodych narodow. Kwestia narodowa i procesy narodotworcze we wschodniej Europie Srodkowej w dobie kapitalizmu. Warszawa, 1993.
341. ChwalbaA. Historia Polski. 1795-1918. Krakow, 2000.
342. Czarnowska M. Zabytki mitologii slowianskiej w zwyczajach wieyskiego ludu na Biatey Rusi dochowywane // Dziennik Wilenski. 1817. T. 6.
343. Czynshl E. Etnagraficzno-statystyczny zarys liczebnosci i rozsiedlania ludnosci polskiej. Warszawa, 1887.
344. Cakvin I., Tereskovic P. Iz istorije nastanka nacionalnog (etnidkog) samosaznja Belorusa od XIV go pocetka XX veka // Etnoantropoloski problemi. Casopis. Beograd, 1989. Sv. 5.
345. Deutsch K. Nationalism and social communication. An inquiry into the foundations of nationality. Cambridge, Massachusetts, 1966.
346. Eberhardt P. Polska ludnosc kresowa. Rodowod, liczebnosc, rozmieszczenie. Warszawa, 1998.
347. Engelhardt E. WeiBruthenien. Volk und Land. Amsterdam; Prag; Wien; Berlin, 1943.
348. Flynn J. T. The Uniate church in Belorussia: a case of nation-building // Religious compromise, political salvation: the Greek Catholic church and nation-building in Eastern Europe / Ed. by J. Niessen. Pittsburgh, 1993.
349. Geertz C The integrative revolution // Old societies and new states. New York, 1963.
350. Gellner E. The coming of nationalism and its interpretation: myths of nation and class // Mapping the nation / Ed. by G. Balakrishnan.London; New York, 1996.
351. Gellner E. Narody i nacionalizm. Warszawa, 1991.
352. GillerA. Historia powstania narody polskiego w 1863-1864 r. Paryz,1867. T. 1.
353. Greenfeld L. Nationalism: five roads to modernity. Cambridge,Massachusetts, 1992.
354. Gursztyn P. Biatorus i Bialorusini w pracach Leona Wasilewskiego // Bialoruskie Zeszyty Historiczne. 2001. № 15.
355. Hastings A. The construction of nationhood: ethnicity, religion and nationalism. Cambridge; New York, 1997.
356. Himka J. P. The Greek catholic church and the Ukrainian nation in Galicia // Religious compromise, political salvation: the Greek Catholic church and nationuilding in Eastern Europe / Ed. by J. Niessen. Pittsburgh, 1993.

357. Hobsbaum E. J. Nations and nationalism since 1780. Programme, myth, reality. Cambridge, 1990.
358. Hroch M. Social precondition of national revival in Europe. Cambridge, 1985.
359. Hroch M. From the national movement to the fully-formed nation: the nation building process in Europe // Ed. by G. Balakrishnan. London; New York, 1996.
360. Jaroszewicz J. Obraz Litwy pod wzgl^dem jej cywilizacyi od czasow naidawniejszych do konca wieku XVIII. Wilno, 1844.
361. Johnson O. V. Slovakia (1918-1938). Education and the making of nation. Boulder, 1985.
362. Kellas J. G. The politics of nationalism and Ethnicity. New York, 1993.
363. Kohn H. The idea of Nationalism. New York, 1945.
364. Lachnickiy J. E. Statystyka gubernii Litewsko-Grodzienskiej. Wilno, 1817.
365. Levinger M., Lytle P. Myth and mobilization: the triadic structure of nationalist rhetoric // Nations and Nationalism. 2001. № 7(2).
366. Laniec S. Bialorus w drugiej polowie XIX stulecia. Olsztyn, 1997.
367. Latyszonek O. Krajowosc i «zapadno-russizm». Tytejszoscz ideologizowana // Krajowosc - tradycj zgody narodow w dobie nacionalizmu. Materialy z medzynarodowej konferencji naukowej w Instytuce Historii UAM w Poznaniu (11 - 12 maja 1998) / Pod red. J. Jrkiewicza. Poznaii, 1999.
368. Maliszewski E. Bialorus w cyfrach i faktach. Piotrkow, 1918.
369. Maliszewski E. Polacy i Polskosc na Litwie i Rusi. Warszawa, 1916.
370.Mikus J. A. Slovakia and Slovaks. Washington, 1972.
371. Molenda J. Chlopi. Narod. Niepodleglosc. Ksztaltowanie sic posiaw narodowych i obywatelskich chlopow w Galicji i Krolewstwie Polskim w przeddeniu odrodzenia Polski. Warszawa, 1999.
372. Nationalism / Ed. by J. Hutchinson and A. D. Smith. Oxford; New York, 1994.
373. Nlessen J. The Greek catholic church and the Romanian nation in Transilvania // Religious compromise, political salvation: the Greek Catholic church and nation-building in Eastern Europe / Ed. by J. Niessen. Pittsburgh, 1993.
374. Obrqbski J. Dzisiejsi ludzie Polesia. Warszawa, 1936.
375. Ochmanski J. Historia Litwy. Wroclaw, 1982.
376. Ochmanski J. Litewski ruch narodowo-kulturalny w XIX wieku.Bialystok, 1965.

377. Pawluczuk W. Swiatopogl^d jednostki w warunkach rozpadu spolecznoSci tradycyjnej. Warszawa, 1972.
378. Plakans A. The Latvians // Russification in the Baltic provinces and Finland. 1885-1914 / Ed. by E. C Thaden. Princeton, 1981.
379. Radzik R. Mizdzy zbiorowosci etnicznei a wspolnota. narodow. Bialorusini na tie przemian narodowych w Europie Srodkowo-Wschodniej XIX stulecia. Lublin, 2000.
380. Raun T. The Estonians // Russification in the Baltic provinces and Finland. 1885-1914 / Ed. by E. C Thaden. Princeton, 1981.
381. Rodkiewicz W. Russian nationality policy in the Western Provinces of the Empire. 1863-1905. Lublin, 1998.
382. Romer M. Litwa. Studium odrodzenia narodu litowskiego. Lwow, 1906.
383. Seton-Watson H. The decline of imperial Russia. 1855-1914.Boulder; London, 1985.
384. SetonWatson H., Seton-Watson C The making of a New Europe. R. W. Seton-Watson and the last years of Austro- Hungary. London, 1981.
385. Smith A. D. The origin of nations // Nationalism / Ed. by J. Hutchinson and A. D. Smith. Oxford; New York, 1994.
386. Smith A. D. The ethnic origins of nations. Oxford, 1986.
387. Smith A. D. Nations and history // Understanding nationalism. Cambridge, 2001.
388. Smith A. D. Nationalism and historians // Mapping the nation / Ed. by G. Balakrishnan. London; New York, 1996.
389. Stankiewic A. Mahnuseuski. Pauluk Bachrym. Babrouski: (Da wytokau bialoruskaha adradzenia). Wilna, 1937.
390. Tarasiuk D. Polskie Towarzystwo sportowo-gimnastyczne «Sokol» w Minsku (1907-1914) // Przegkmd Polonijny. 2000. Rok XXVI. Zeszyt 3 (97).
391. Tereshkovich P. Belarusian road to modernity // International Journal of Sociology. Fall 2001. Vol. 31. № 3.
392. The Invention of Tradition / Ed. by Hobsbaum E. J. Cambridge, 1983.
393. Thugutt S. Polska i poliacy. Ilosc i rozsiedlanie ludnosci polskiej. Warszawa, 1915.
394. Turonek J. PPS wobec bialoruskiego ruchu rewolucyjnego w latach 1902-1906 // Studia polsko-litewsko-bialoruskie / Pod red. J. Tomaszewskiego i in. Warszawa, 1988.
395. Turonek J. WaclawIwanowski i odrodzenie Bialorusi. Warszawa, 1992.

396. Uwagi nad nieumiejijtnosciii j?zyka slowianskiego literalnego w Dalmacyi. Dzielo pozgonne nayszanowniyszego X. Mateusza Sowicz,zeszlego Archidyakona d'Ossero / Z wioskiego jnzyka przelozyl i przypisami objasnil, X. M. Bobrowski, kanonik katedr. Brzeski // Dziennik Wilenski. 1826. T. 1.
397. Vahar N. P. Belorussia. The making of a nation. Cambridge, 1956.
398. Valentiejus A. Early Lithuanian nationalism: sources of its legitimate meanings in an environment of shifting boundaries // Nations and nationalism. 2002. Vol. 8. Part 3.
399. Wakar W. Rozwoj teretoryalny narodowosci polskiej. Czeic3. Statystyka narodowosciowa kresow wschodnich. Kielce, 1917.
400. Walby C. Woman and nation // Mapping the nation / Ed. by G. Balakrishnan. London; New York, 1996.
401. Waidenberg M. Kwestie narodowe w Europie Srodkowo-Wshodniej. Dzieje. Idee. Warszawa, 1992.
402. Wasilewski L. Litwa i Biaiorus. Przeszlosc, terazniejszosc, tendencje rozwojowe. Krakow, 1912.
403. Wasilewski L. Die nationalen und kulturellen Verhaltnisse im sogenanntem Westrussland. Vienna, 1915.
404. Weber E. Peasants into Frenchmen: the modernization of rural France. 1870-1914. Stanford, 1976.
405. Weeks T. R. Monuments and memory: immortalizing count M. N. Muraview in Vilna 1898 // Nationalities Papers. 1999. Vol. 24. № 4.
406. Weeks T. R. Nation and state in late imperial Russia. Nationalism and Russification on the Western frontier, 1863-1914. De Kalb, 1996.
407. Wrdbel P. Ksztatowanie si? bialoruskiej swiadomosci narodowej a Polska. Warszawa, 1990.
408. Zukowski W. Polacy i Bialorusini. Wilno, 1907.

.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

ОГЛАВЛЕНИЕ